ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ

Читая тетради ПУШКИНА

ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА





А. Пушкин

ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ

Читая тетради ПУШКИНА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1976

8 Р1
Ф 36

В книгу известного литературоведа Ильи Фейнберга «Читая тетради Пушкина» входят разыскания автора, посвященные судьбам пушкинских рукописей и раскрытию содержания черновых тетрадей поэта. Среди них «Заступники кнута и плети...», «Исторический анекдот Пушкина», «Неведомая книга».

В книгу входит раздел «В мастерской поэта» («Работа над «Онегиным»). И. Фейнберг знакомит читателя с важнейшими из черновиков романа, раскрывая творческий смысл смены художественных решений поэта.

Работа «Пропавший дневник» посвящена вопросу о том, существует ли неизвестный нам дневник Пушкина.

В сборнике объединены работы разных лет.

Ф $\frac{70202-363}{083(02)-76}$ 365—76

Разыскания и находки

НЕВЕДОМАЯ КНИГА

В 1835 году Пушкин с увлечением продолжал изучение русской истории XVIII столетия, собирал в своей библиотеке книги об этом веке и обращался к знатокам эпохи за сведениями о труднодоступных почему-либо, то есть редких или запрещенных в те годы, исторических сочинениях и мемуарах.

В ответ на одно из своих обращений Пушкин получил в конце 1835 года от некоего Александра Яковлевича Вильсона две книги — это были записки иностранцев о России. В сопроводительном письме А. Я. Вильсон, как можно прочесть в Большом академическом издании сочинений поэта, писал Пушкину: «Милостивый государь Александр Сергеевич. Вместе с сим получить изволите Записки капитана Брюса, в которых найдете много любопытства достойного... Записки доктора Куна при сем же получить изволите» [1]. Вильсон поясняет, что последний жил в России в годы царствования Анны Иоанновны и императрицы Елизаветы, и кратко характеризует при этом каждую из посылаемых Пушкину книг.

Прочитал ли Пушкин эти книги и воспользовался ли он ими в своих исторических занятиях и работах?

Что касается первой из книг, посланных поэту Вильсоном, то, как сможет в дальнейшем убедиться читатель, Пушкин прочел и использовал «Записки Питера Г. Брюса, эсквайра, офицера прусской, русской и британской службы, содержащие отчет о его путешествиях по Германии, России, Татарии, Турции, Вест-Индии и проч., а также некоторые весьма интересные частные анекдоты о жизни русского царя Петра I». Книга эта

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XIV, стр. 67.

вышла в Лондоне в 1782 году. Содержащийся в ней рассказ об отравлении царевича Алексея (поставленный потом под сомнение русскими историками) произвел на Пушкина, как мне удалось установить в свое время, глубокое впечатление.

Более подробный рассказ об этом читатель найдет ниже, в главе «Пушкин и дело царевича Алексея».

Итак, записки капитана Брюса о Петре I Пушкин получил и прочел. Ну, а «Записки доктора Куна», одновременно посланные ему Вильсоном? Пушкин нигде о них не упоминает, и поныне неизвестно, что это за книга, дошла ли она до Пушкина и имел ли он возможность прочесть ее. Обнаружить ее до сих пор не удавалось, и потому поставлено было под сомнение даже само существование ее.

Известный в свое время ученый, профессор И. А. Шляпкин, который впервые опубликовал в 1903 году в своей книге «Из неизданных бумаг Пушкина» интересующее нас письмо А. Я. Вильсона, долго и безуспешно разыскивал «Записки доктора Куна», посланные Пушкину при этом письме. В своих поисках он обращался к монументальному каталогу иностранных сочинений о России, хранившихся в императорской Публичной библиотеке («Rossica»), к подробному каталогу иностранных книг о Петре Великом, который издан был в 1872 году на французском языке в Петербурге Р. Минцловым, к трудам по истории медицины в России в XVIII столетии и пр. «Но,— писал после всех своих розысков профессор Шляпкин,— я не нашел доктора Куна» [1].

Все это и заставило его усомниться в том, что «Записки доктора Куна» вообще существуют на свете. Шляпкин заподозрил, что корреспондент Пушкина попросту «перепутал имена и факты», то есть, назвав почему-то посланную Пушкину книгу записками неведомого доктора Куна, послал в действительности Пушкину какую-то другую книгу, сообщив в своем письме ошибочные или даже выдуманные сведения о ней.

Вот что писал А. Я. Вильсон поэту об авторе посылаемых «Записок доктора Куна»: «Служба его при кня-

[1] И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. Пб., 1903, стр. 228.



А. Я. Вильсон.
Золотая медаль в честь пятидесятилетия его государственной инженерной службы.

зе Голицыне, поездка с посольством в Персию, анекдоты об ученом, умном, но бессовестном Татищеве заслуживают некоторого замечания» [1].

Стремясь разгадать загадку, Шляпкин, исходя из сведений, пусть даже искаженных, сообщенных Пушкину А. Я. Вильсоном о содержании посланной книги, стал выяснять, не существует ли какой-нибудь книги, записок о России, в которых автор, врач-иностранец, состоявший на русской службе в середине XVIII столетия, описывает свое путешествие в Персию с посольством князя Голицына и сообщает анекдоты об историке Татищеве. Таким образом, Шляпкин стал разыскивать неведомую книгу, исходя из имеющихся сведений о содержании ее. Путь, казалось бы, разумный, и профессор Шляпкин в конце концов установил, какую именно книгу корреспондент Пушкина послал ему под видом «Записок доктора Куна».

Это были в действительности, полагал Шляпкин, «Записки доктора Лерхе», немецкого врача, который прибыл в Россию в 1731 году, прожил в ней полвека, ездил

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XVI, стр. 67.

действительно в 1745—1747 годах с русским посольством в Персию в свите князя М. М. Голицына, описал это путешествие в своих записках и рассказывает в них анекдоты о Татищеве. Все это отвечает, по всей видимости, тому, что писал Вильсон Пушкину о содержании посылаемой книги.

Итак, книга, посланная Пушкину Вильсоном, действительно существовала, и автором ее был действительно врач-иностранец, оставивший любопытные записки о России, только не доктор Кун, а доктор Лерхе. В правильности этого вывода окончательно убеждало профессора Шляпкина то, что Пушкин знал о существовании «Записок доктора Лерхе», имя которого, как и сведения о Татищеве, извлеченные из записок Лерхе, содержатся в статье, которая печатается в собраниях сочинений Пушкина в разделе «Dubia», то есть среди приписываемых поэту произведений. Статья сохранилась в бумагах Пушкина в двух копиях и была если не целиком написана, то отредактирована им.

Вот что читаем мы в этой статье о докторе Лерхе и его записках: «Доктор Лерх, сопровождавший князя Михаила Михайловича Голицына в Персию, говорит о Татищеве: «Октября 27, 1744 года прибыли мы в Астрахань. Губернатором был там известный ученый Василий Никитич Татищев, который пред сим образовал новую Оренбургскую губернию. Он говорил по-немецки, имел большую библиотеку отличнейших книг и был в философии, математике, а особенно в истории весьма сведущ. Он написал Российскую историю, которая, по кончине его, досталась кабинет-министру барону Ивану Черкасову». Черкасов передал оную Ломоносову. Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей. Он был слабого здоровья, но сие не препятствовало ему быть деятельным и решительным в делах, он умел каждому дать полезный совет и помощь, а особенно купечеству...» [1]

В статье этой, написанной или редактированной самим Пушкиным, устранены, правда, все невыгодные для Татищева отзывы. «Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей»,— читаем мы в

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XII, стр. 344.

этой статье. В подлинных же «Записках доктора Лерхе» говорится: «И особливые имел понятия о законе (т. е. о религии.— *И. Ф.*), почему,— добавляет Лерхе,— его многие не почитали за православного»[1]. В статье, сохранившейся в бумагах Пушкина, выпущены также все сообщения о корыстолюбии Татищева, которые содержатся в записках Лерхе. Между тем, сказав о том, что Татищев умел каждому дать полезный совет и помощь, а особенно купцам, Лерхе в подлинных своих записках поясняет: «Однако же даром он ничего не делал, почему и попал под ответ, и Сенат послал указ сменить его от должности».

Статья о Татищеве, вошедшая в собрание сочинений Пушкина, не доказывает, впрочем, что он знал подлинные «Записки доктора Лерхе», посланные ему, по мнению Шляпкина, Вильсоном (они вышли на немецком языке в Галле в 1791 году), или хотя бы перевод из них, опубликованный в 1790—1791 годах в России в журнале «Новые ежемесячные сочинения». Статья, приписываемая Пушкину, основана главным образом на «Жизнеописании» Татищева, опубликованном в свое время В. Н. Берхом[2], и все цитаты из «Записок Лерхе» приводятся в ней в том же усеченном виде, в каком они даны были Берхом, а не в том виде, в каком мы читаем их в подлинных «Записках доктора Лерхе».

Содержание «Записок доктора Лерхе» подтверждало, по всей видимости, все же вывод профессора Шляпкина. Недоразумение было как будто выяснено: неведомая книга обнаружилась. Но откуда взялся все-таки в письме Вильсона доктор Кун? Хорошо было бы это как-нибудь выяснить. И полвека спустя после разысканий Шляпкина «доктор Кун» был каким-то образом обнаружен. В 1959 году вышел заключительный Справочный том Большого советского академического издания сочинений Пушкина, где указаны полное имя, звание, а также годы рождения и смерти доктора Куна. Здесь на

---

[1] «Новые ежемесячные сочинения», 1790 г., июнь, стр. 74. («Известие о втором путешествии доктора Лерха в Персию». Переведено с немецкого Императорской Академии наук студентами Алексеем Клевецким и Михайлом Судаковым»).

[2] «Горный журнал», 1828, кн. I, стр. 95—134. См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 9 томах, т. VIII. «Academia», стр. 800.

странице 254 мы читаем о нем: «Кун (Kuhn), Иоганн Эрнст (?), доктор (1677—1759) (?)».

Значит, автором посланной Пушкину книги был все-таки не доктор Лерхе, определенный профессором Шляпкиным, а доктор Кун, обнаруженный в наше время редакторами нового академического издания. Впрочем, не было в том и теперь полной уверенности, поскольку имя доктора Иоганна Эрнста Куна, так же как и годы рождения и смерти его, сопровождаются в академическом издании вопросительным знаком. Итак, твердого, бесспорного ответа покуда не найдено. В чем тут причина? И не было ли тут с самого начала исходной ошибки?

Трудно, в самом деле, поверить, что в ошибку впал сам Вильсон, человек, судя по его письму, весьма знающий, почему Пушкин и обратился к нему. С пониманием характеризует Вильсон посылаемые им поэту записки иностранцев о России. С определенностью указывает он и годы пребывания в России автора посланной им Пушкину и до сих пор не разысканной книги.

«Он жил в России с 1736 по 1750 год,— пишет Вильсон,— и по своим понятиям описывает все, что видел и что с ним приключилось». Перечислив все, что заслуживает, на его взгляд, внимания в посылаемых Пушкину записках, Вильсон заключает, что страницы эти «заслуживают некоторого замечания, кроме много других подробностей, относящихся до времени, о котором мало писали»[1]. Характеристика автора посылаемой книги является тут, как мы видим, результатом несомненного знакомства Вильсона с этой книгой и критического чтения ее. Поэтому трудно представить себе, что он мог впасть в такую грубую ошибку, какую приписывает ему Шляпкин, и исказил даже имя автора им же посланной поэту книги.

Необходимо было, конечно, обратиться прежде всего к подлиннику письма Вильсона и посмотреть своими глазами, что написано в нем его рукой. Может статься, текст письма Вильсона почему-либо был неправильно прочитан.

Интересующее нас место этого письма и в публика-

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XVI, стр. 67.

ции Шляпкина, и в дореволюционном академическом издании переписки Пушкина под редакцией Саитова (т. III, 1911, стр. 258—259), и в советском академическом издании (т. XVI, 1949, стр. 67—68) печатается одинаково: «Записки доктора Куна при сем же получить изволите».

В примечании к новому, так называемому Большому академическому, изданию мы читаем, что письмо А. Я. Вильсона Пушкину от 18 декабря 1835 года «печатается по подлиннику». Подлинник же этот, как и вся переписка Пушкина, хранится в Пушкинском Доме. Туда я поэтому в свое время и обратился.

Архивом Пушкинского Дома в те годы заведовал Борис Викторович Томашевский, великий знаток Пушкина. Кабинетом ему служила библиотека поэта, по стенам которой стояли шкафы с книгами, собранными Пушкиным,— сохранилось из них около 3700 томов. В их числе можно обнаружить составленную Пушкиным коллекцию сочинений и исторических источников о Петровской эпохе. Обнаружить — путем исследования. Ибо книги Пушкина размещены в шкафах, как теперь это повсеместно принято, в алфавитном порядке. То есть, если судить с точки зрения их содержания, книги Пушкина ныне размещены — тематически — в беспорядке.

Стоя у шкафов с книгами поэта, я обратился к Борису Викторовичу с просьбой показать мне подлинник письма Вильсона. И через минуту, не более, оно было снято с архивной полки и принесено в библиотеку Пушкина. Письмо это, написанное на четырех страницах хорошей почтовой бумаги в четвертку, сохранилось и читается отлично. Не вполне разборчива, пожалуй, только подпись А. Я. Вильсона. Из-за этого Шляпкин в свое время неверно прочитал ее и потому ошибочно опубликовал письмо А. Я. Вильсона к Пушкину в качестве письма А. В. Висковатова. Ошибка эта потом, в академических изданиях переписки поэта, была исправлена, и письмо стало печататься как и должно, то есть как письмо Вильсона к Пушкину.

Читая подлинник этого письма, нетрудно было убедиться, что и Шляпкин, впервые напечатавший это письмо, а вслед за ним редакторы и дореволюционного, и советского академического изданий переписки поэта неверно прочли имя автора книги, посланной Пушкину

Вильсоном, который, оказывается, писал в своем письме: «Записки доктора Кука при сем же получить изволите».

Не доктор Кун, а доктор Кук...

Ошибка допущена была в одной только букве. Но так как она искажала имя автора книги, посланной Пушкину, все попытки обнаружить ее велись в ложном направлении и остались поэтому безуспешными.

Прочитав письмо в том самом кабинете, где стояла библиотека Пушкина, я повернулся к тому из шкафов, в котором размещены книги иностранных авторов, имена которых начинаются на букву «С» (соответствующую здесь русскому «К»), и сразу же увидел и снял с пушкинской полки «Записки доктора Кука» (John Cook), книгу, изданную в 1770 году в двух томах на английском языке в Эдинбурге и посланную действительно в декабре 1835 года Пушкину Вильсоном. Вот полное название ее в русском переводе: «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части царства Персидского Джона Кука, доктора медицины».

Книга эта пробыла сначала много лет в одном из тех ящиков, в которые заколочена была после смерти Пушкина его библиотека, а потом простояла много десятилетий, не привлекая ничьего внимания, в шкафу в Пушкинском Доме, на одной из полок библиотеки поэта.

Книгу эту Пушкин прочел: в ней поныне лежат девять закладок, отмечающих те страницы «Записок доктора Кука», которые заинтересовали поэта. Закладки эти свидетельствуют о том, с каким вниманием Пушкин читал, точнее — изучал эту книгу. Да, это, бесспорно, та самая книга, которую послал Пушкину А. Я. Вильсон. Автор ее Джон Кук был в самом деле доктором медицины, что и означено на титуле книги, где поставлен сверх того латинский эпиграф: «Если мы рождены для почести, то к ней одной нужно стремиться, или по крайней мере считать, что она весомей всего остального. *Туллий*» (то есть Марк Туллий Цицерон).

Знакомясь с «Записками доктора Кука», не трудно было убедиться, что Вильсон верно осветил содержание его книги в своем письме к поэту. Доктор Кук пишет в своих записках о России в годы царствования Анны Иоанновны и Елизаветы — времени, о котором, как

VOYAGES

AND

TRAVELS

THROUGH

The RUSSIAN Empire, TARTARY, and
Part of the Kingdom of PERSIA.

By JOHN COOK, M.D. at *Hamilton*.

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

Si ad honestatem nati sumus, ea aut sola expetenda est, aut certe omni pondere gravior est habenda, quam reliqua omnia. TUL.

EDINBURGH:
Printed for the AUTHOR. M,DCC,LXX.

«Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части царства Персидского Джона Кука, доктора медицины». Эдинбург. 1770 г. *Титульный лист.*

справедливо заметил в письме к Пушкину А. Я. Вильсон, мало писали современники. Во втором томе ее описывается путешествие доктора Кука с посольством князя Голицына в Персию, а на страницах 81 и 115 этого тома доктор Кук говорит о Татищеве, с которым он близко познакомился в Астрахани.

«Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение». Эти слова Эдмунда Бёрка, автора знаменитой книги «Размышления о Французской революции», сохранившейся в библиотеке поэта, Пушкин первоначально поставил эпиграфом к первой главе своего «Евгения Онегина». «Недостаточное различение», на опасность которого обращал внимание читателей своим эпиграфом Пушкин, стало причиной казуса, происшедшего с профессором Шляпкиным, смешавшим записки доктора Лерхе с записками доктора Кука.

Смешать их книги, вернее, счесть книгу одного книгой другого было легко. Тот и другой врачи-иностранцы; оба оставили записки о России; оба вместе совершили путешествие в Персию с посольством князя М. М. Голицына и описали это путешествие; доктор Кук не раз упоминает в своих записках о докторе Лерхе; оба знали в Астрахани Татищева и писали каждый в своих записках об этом выдающемся человеке. Только немец доктор Лерхе состоял врачом посольства, а хирург шотландец Кук был врачом посла— князя Голицына. Вот почему профессор Шляпкин (а не корреспондент Пушкина Вильсон, как полагал профессор) «перепутал имена и факты».

Полвека спустя стали снова искать загадочную книгу и мнимого автора ее — «доктора Куна». И, мы видели, даже нашли его.

Таким образом, сначала в истории розысков загадочной книги появляется правдоподобная, казалось бы, но ложная разгадка — версия профессора Шляпкина. Потом другая — «доктор Кун» (в указателе к академическому изданию). Версия также ложная, поскольку не устранена была все еще исходная ошибка — искали несуществующую книгу доктора Куна. И только когда мы устранили эту ошибку, оказалось возможным обнаружить — и где же? — на одной из полок пушкинской библиотеки «неведомую книгу», посланную почти полтора века назад поэту А. Я. Вильсоном.

92 VOYAGES AND

crier to make known to the inhabitants, that the general of the galleys was lost; and therefore ordered that whoever knew of him, should immediately make discovery, without loss of time, offering a reward to the discoverer of three farthings, but threatening punishment to any who should dare to conceal him.

This had the effect: It roused him: He instantly deserted his drunken companions, went to the Emperor, and expostulated with him about affronting in so public a manner an officer of his rank, threatening at the same time that he would be revenged.

This pleased the Emperor, for he kept him by way of a buffoon, and consequently allowed him all liberty of speech. The Emperor used to take an hour's sleep after dinner which is the custom in these countries: He loved the fleet as is well known to excess.

A fleet of small vessels at that time lay at Tzaritz and, while he was sleeping in one of them, Golovine ordered all the bells in the city to be rung, and at the same time to make an alarm with all the drums; which in Russia, is a certain sign of something extraordinary.

The Emperor disturbed out of his sleep, made enquiry at the officers on board concerning the cause of this alarm. They all saw there was no fire in the city, but could not conceive what was the matter; wherefore the Emperor went to the commandant

TRAVELS. 93

mandant to enquire. He knew as little of the cause as his Majesty, but said that the general of the galleys had given such orders: All search was made for him, but he was not to be found.

At last Golovine, who perfectly knew the Emperor's way, stayed so long till he thought the Emperor would be pleased to see him again, he was only hid in an old cask which was in the house where the Emperor resided when in town. He told the Emperor that was the revenge he took for the affront he had given him.

The Emperor's anger being over, Golovine got off, but was seriously advised never more to adventure on such daring actions, lest he might suffer the loss of his head. Many such stories were told of him, but this is sufficient to shew that the man was admired only for his folly and impertinence.

The Empress Anne took pleasure in plaguing him, and the more rude he expressed himself to her, the liked him the better, however the greatest lord durst not affront him: for, though he could do little or no good, he was yet able to do, and had done, much harm.

The galley-haven is truly a pleasant fortress: It is situated on the west end of Vassilie Ostroff on the east end of the golph of Finland, and communicates with St Petersburgh with a prospective cut through the woods. I was told there were 200 galleys kept here, and

Страницы, отмеченные закладкой Пушкина в книге доктора Кука.

Шляпкин искал посланную Пушкину книгу, обращаясь к самым авторитетным каталогам и библиотекам. И не нашел ее, Куков же существует на свете великое множество. В «Генеральном каталоге» библиотеки Британского музея одних только Джонов Куков значится сорок пять! И в числе их в томе 43-м этого каталога на столбце 53-м, значатся записки доктора Кука, изданные в Эдинбурге в 1770 году. Книга доктора Кука под № 1069 значится, разумеется, в известном каталоге иностранных сочинений о России («Rossica»), вышедшем в Петербурге в 1872 году. Упоминается она (безотносительно к Пушкину) и в книге М. Полиевктова «Европейские путешественники XIII—XVIII вв. по Кавказу», вышедшей в 1935 году в Тбилиси (на стр. 99).

Библиотека Пушкина больше полувека назад была тщательно описана Б. Л. Модзалевским. В этом опи-



Иван Михайлович Головин (прозванный «Головин-Бас») — прапрадед А. С. Пушкина, упоминаемый в книге доктора Кука. (Петр I приказал написать его портрет в окружении кораблестроительных деталей.)
Гравюра из книги Вебера «Преображенная Россия», сохранившейся в немецком издании в библиотеке Пушкина.

сании библиотеки поэта, вышедшем в свет в 1910 году, зарегистрированы были, конечно, и уцелевшие в ней записки доктора Кука, причем указаны были даже страницы, между которыми сохранились закладки, положенные Пушкиным. Но и это не навело на мысль прочесть книгу Кука или хотя бы страницы, отмеченные в ней пушкинскими закладками. Неверное прочтение имени автора этой книги в письме Вильсона было, таким образом, не единственной причиной ошибки.

Пушкин думал, мы знаем, написать «Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III», а позднее сообщал, что предполагает продолжить ее вплоть до Павла I. «Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много,— писал о Пушкине Ключев-

ский.— Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п.»[1] К этим пушкинским записям, заметкам и собранным им историческим анекдотам и к изучению их следует привлечь, конечно, и отмеченные пушкинскими закладками страницы исторических записок, посвященных XVIII столетию. «Записки доктора Кука» наряду с целым рядом других, более важных источников могли послужить Пушкину материалом для задуманной им работы по русской истории XVIII века: на это предположение наводят закладки, положенные поэтом в книгу Кука.

Но отчего же его книга оставалась так долго неразысканной? История эта представляет собой, конечно, рассказ только об одном из множества случаев в вековой истории изучения Пушкина, изобилующей, как известно, и великими, и малыми достижениями. Случай относится к числу необычных и занимательных, а отчасти даже поучительных (впрочем, случаи подобного свойства в науке о Пушкине, разумеется, редки).

Что касается выводов, которые должны быть сделаны в итоге предлагаемого разыскания, то прежде всего надо, конечно, печатая переписку Пушкина, исправить ошибку в тексте письма Вильсона к поэту и вместо «Записки доктора Куна при сем же получить изволите» печатать: «Записки доктора Кука». А в Справочном томе Большого академического издания сочинений Пушкина вместо сведений о докторе Иоганне Эрнсте Куне дать сведения о действительном авторе этой книги, докторе Джоне Куке, служившем в России в 1736—1750 годах. А затем выяснить, что же заинтересовало Пушкина в «Записках доктора Кука», на что указывают положенные им в книгу закладки, что нашел Пушкин в ней нового — и мог почерпнуть для своей исторической работы.

1975

---

[1] В. Ключевский. «Очерки и речи». Второй сборник статей. М., типография П. П. Рябушинского, б/г, стр. 59.

«ЗАСТУПНИКИ КНУТА И ПЛЕТИ...»

В одной из черновых тетрадей Пушкина сохранился с трудом читаемый набросок эпиграммы, написанной в михайловской ссылке. Сатирические стихи эти обращены против «заступников кнута и плети», а может быть, и против самого царя. Но кто эти «заступники кнута», которых гневно обличает Пушкин, в черновике поэта не сказано.

Спор об этой эпиграмме, о том, в связи с чем она возникла и «на кого» из современников поэта была написана, идет уже полвека, с тех пор, как пушкинский набросок, раньше никем не замеченный, был обнаружен (на полях рукописи стихотворения «Андрей Шенье»). Но так как строки наброска писаны наскоро, стремительно и многие слова в нем неясны, прочесть их возможно только предположительно. Поэтому многое в нем до сих пор остается непонятным. А между тем разъяснение загадки может, кажется нам, осветить яркую страницу политической биографии Пушкина.

Чтобы раскрыть сатирический замысел Пушкина, надо, конечно, уяснить прежде всего историческую обстановку, в которой родилась его смелая эпиграмма. И не только в общих чертах,— надо постараться выяснить, какие современные события заставили его в год, окончившийся восстанием 14 декабря, с таким негодованием восстать против «заступников кнута и плети».

I

«Сатирический бич, поистине, настигает современников поэта»,— писал П. Е. Щеголев, обнаруживший в 1911 году не замеченный раньше пушкинский набросок,

из которого ему удалось прочесть тогда лишь некоторые строки[1]. На вопрос о том, *кого* из современников разумела эпиграмма Пушкина, впервые попытался ответить Валерий Брюсов, решившись дать реконструкцию ее. Вот в каком виде он в 1919 году напечатал ее:

Заступники кнута и плети,
О благодетели мои!
Все наши женщины и дети
(Семья, жена моя и дети)
Вам благодарны навсегда
Благодарить вас...
Не позабудем никогда.
. . . .
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду,
Когда для дела позовут
Меня на (царскую) расправу
За ваше здравие и славу
Влетит (царю) мой первый кнут!

«Повод к этим энергичным строкам не выяснен»,— писал Брюсов. Слова «царю», «на царскую расправу» он прочел в пушкинском черновике по догадке, поскольку их в рукописи нет. Включая их в текст стихотворения (хотя и условно, в редакторских скобках), Брюсов утверждал тем самым, что стихотворение направлено против самого царя, которому Пушкин грозит кнутом, расправой[2].

Такое понимание пушкинской эпиграммы было принято позднее Большим академическим изданием сочинений поэта. Текст ее, предложенный Брюсовым, напечатан был в нем в 1949 году с некоторыми уточнениями, самым важным из которых было новое чтение начала пушкинского стихотворения. Теперь оно начиналось словами:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князья...[3]

Итак, оказывается, что сатира Пушкина обращена была против каких-то «знаменитых князей», «заступни-

---

[1] См.: П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е. М.— Л., «Художественная литература», 1931, стр. 326.

[2] См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Под редакцией В. Брюсова. М., Госиздат, 1919, стр. 256.

[3] См. т. II, кн. I, стр. 416. (Предположительность чтения была отмечена здесь вопросительными знаками редактора этого текста.)

ков кнута и плети» (которые по именам здесь Пушкиным не названы); кончается же она, как и в издании Брюсова, угрозой царю.

То есть, когда настанет день расправы над самодержавием,— а Пушкин в 1825 году, по-видимому, думал, что день этот наступит вскоре,— поэт клянется вспомнить князей — «заступников кнута и плети». И грозит:

За ваше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут!

Этот уточненный текст эпиграммы был принят академическим изданием, а вслед за ним и другими авторитетными изданиями сочинений Пушкина, после работ Т. Г. Цявловской, много потрудившейся над чтением спорного пушкинского наброска и над комментариями к нему [1]. Сумев прочесть в нем строку «О знаменитые князья», исследовательница, естественно, задалась целью выяснить, кого имел в виду здесь Пушкин: что это за «князья»? И вывод, к которому она пришла, был принят, к сожалению, кажется, во всех комментированных собраниях сочинений Пушкина, изданных за последнее двадцатилетие.

Согласно этому общепринятому объяснению резкая эпиграмма Пушкина обращена против друзей, убеждавших поэта оставить мысль о побеге из михайловской ссылки, смириться и не отвергать «из упрямства и прихоти милости царской». А милость эта состояла в том, что Пушкину вместо лечения за границей, о котором он просил, предложено было лечиться во Пскове.

Смириться тогда советовали поэту вместе с Вяземским Плетнев и Жуковский. И вот, негодуя на них за то, что «дружба входит в заговор с тиранством», Пушкин пишет — будто бы на них — злую эпиграмму. Он иронически, «собирательно», по выражению Т. Г. Цявловской, называет всех их (вместе с Вяземским), «знаменитыми князьями». «Эх, вы!.. вяземские!» — как бы говорит, по словам исследовательницы, Пушкин. И называет в пылу негодования этих своих друзей «заступниками кнута и плети»... [1]

---

[1] См.: Т. Г. Зенгер (Цявловская). «Из черновых текстов Пушкина». Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М.— Л., АН СССР. 1941, стр. 31—47.



Александр I.
Рисунок Пушкина.

Б. В. Томашевский согласился в общем с этим мнением Т. Г. Цявловской, но сомневался все же, что Пушкин грозит кнутом в своей эпиграмме самому царю. О последнем стихе ее: «Я (?) дам (?) царю (?) мой первый кнут», исследователь заметил, что стих этот «внушает большие сомнения, как по чтению неразборчивых слов, так и по смыслу: вряд ли можно полагать, что призванный на расправу может дать кнут своим обвинителям. Вернее предположить, что Пушкин иронически благодарит друзей за те истязания, которым он может подвергнуться со стороны царской политической полиции, во власти которой он, благодаря друзьям, остался» [1].

В статье «О принципах и приемах чтения черновых рукописей Пушкина» академик В. В. Виноградов убедительно опровергнул догадку о том, что «знаменитыми князьями» Пушкин назвал в своей эпиграмме Вяземского, Жуковского и Плетнева — всех вместе. «Ведь князь П. А. Вяземский был один»,— замечает он. (Жуковский же и Плетнев были людьми весьма скромного происхождения.) [2] Нет, пушкинская эпиграмма обращена не против друзей поэта...

Но кто же в действительности были эти «знаменитые князья», «заступники кнута и плети»? Попытаемся ответить на этот вопрос. А затем выяснить: метила ли эпиграмма Пушкина в царя?

II

«Его императорское величество, следуя благости сердца своего, еще в 1817 году изъявил желание свое, чтобы кнут, вырывание ноздрей и клеймение лица у преступников не были впредь употребляемы»,— писал осенью 1824 года в одном из своих прославленных выступлений в Государственном совете адмирал Мордвинов [3], а 24-го октября того же года в Государственном совете оглашено было его мнение «О кнуте, орудии наказания». Вот эта замечательная речь:

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР, 1949, т. II, стр. 438.

[2] Сб. «Проблемы сравнительной филологии». М., «Наука», 1964 (см. стр. 277—290).

[3] «Архив графов Мордвиновых», т. V. СПб, 1902, стр. 698.

«С того знаменитого для человечества и правосудия времени, когда европейские народы отменили пытки, истребили они и орудия, коими мучения производимы были. Одна Россия сохранила у себя кнут, орудие, в употреблении бывшее при пытках, коего одно наименование поражает ужасом народ российский и дает повод иностранцам заключать, что Россия находится еще в диком состоянии, без просвещения и нравственных понятий о человеке, существе в высшей степени чувствительном.

Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мещет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека. Мучение лютейшее всех других известных, ибо все другие, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20-ти ударов кнутом потребен целый час, и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца.

Сила кнута есть столь велика, что возможно оным сокрушить каменную стену. Искусство палача дознается, когда он ударом кнута вырывает кирпич из стены; а тайным назначением, когда двумя ударами он может умертвить человека [1].

При кровавом, паче отвратительном зрелище такового мучения, пораженные ужасом зрители приводимы бывают в то исступленное состояние, которое не дозволяет ни мыслить о преступнике, ни рассуждать о соделанном им преступлении. Каждый зритель видит лютость мучения и невольно болезнует о страждущем, себе подобном. Меньшей степени было бы его поражение, менее лютейшим нашел бы он наказание, когда бы видел острый нож в руках палача, которым бы он разрезывал тело человеческое, вместо того, что он пролагает полосы ударами терзающего кнута. При наказании кнутом многие из зрителей плачут, многие дают наказанному милостыню, многие, если не все, трепещут и негодуют на жестокость мучения.

Кнут, по своему составу, по долговременности сво-

[1] Данный абзац сохранился в первоначальной редакции настоящего «Мнения» в виде приписки.— *И. Ф.*

его действия, по глубоким язвам, им соделываемым, и по преданию преступника на волю палача в умеренности и жестокости наказания, не долженствовал бы быть орудием исправительного наказания.

Он был и есть орудие мучения, которое доныне было частым и особым зрелищем для российского народа и которое потому только существовало, что высшие правительственные лица никогда не присутствовали при сих бесчеловечных и предосудительных для века нашего истязаниях.

Доколе кнут существовать будет в России, втуне мы заниматься будем уголовным уставом. С кнутом в употреблении напрасны будут уголовные законы, судейские приговоры и точность в определении наказания. Действие законов, исполнение приговора и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста ударами соделает наказание легким, десятью жестоким и увечным, если не смертельным.

Как сила наказания зависит от палача, то обыкновенно он торгуется с присужденным к оному, и требования его всегда бывают велики...

...Адмирал Мордвинов предлагает уничтожить навсегда кнут, орудие наказания, не соответственное настоящей степени просвещения высших в отечестве нашем сословий и общему благонравию и мягкосердию российского народа...

При наказаниях чувства зрителей должны быть возбуждены к презрению преступника, к отвращению от злодеяний и к познанию пагубных от законопреступления последствий, без ожесточения сердец зрителей...

И для чего терзать тело того, кто лишается свободы, осуждается вечно в тяжкую работу и который с потерею всех прав гражданских и с расторжением всех связей семейственных и родственных, из человека, которому природа предопределила наслаждения жизни, превращается в существо, как бы в составе своем сокрушенное, духом и телом уже страждующее и вечно на страдание осужденное? Все просвещенные народы оставили мучительные зрелища. Наступило и для нас время отменить оные при кротком царствовании Александра I, чадолюбивого отца подданных своих. Да скажут бытописания всех народов, что сиявший добродетелями вели-

кий монарх, положивший конец страданиям чуждых и отдаленных стран, еще более ознаменовал милосердия и величия души в отечестве своем»[1].

III

«Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию»,— писал Пушкин весной 1824 года Вяземскому[2].

Его смелые «мнения», показал во время следствия над декабристами Николай Бестужев, ходили по городу как образцы государственного красноречия и любви к отечеству.

Мордвинова, как известно, декабристы прочили в состав Временного правительства в случае победы восстания. И он был единственным членом Верховного суда над декабристами, отказавшимся подписать смертный приговор вождям восстания. Это было удивительной смелостью в то время, когда Сперанский (так же, как и Мордвинов, намечавшийся декабристами в состав Временного правительства) играл во время суда над ними важнейшую роль и по поручению царя намечал жесточайшие казни и наказания тем же декабристам.

К этому нужно, конечно, добавить, что против введения в Уголовное уложение смертной казни Мордвинов выступал в Государственном совете еще до Декабрьского восстания.

«Мнение» Мордвинова, столь красноречиво выражавшее взгляды противников кнута и плети, как мы убеждаемся теперь, знакомясь с эпиграммой Пушкина, стало известно ссыльному поэту. Но нашлись, видимо, в Государственном совете империи не согласные с отменою кнута — «заступники кнута и плети». Они, скажем заранее, взяли верх. Александр I, предполагавший еще в 1817 году отменить наказание кнутом, положил теперь, в 1824 году, проект об отмене кнута под сукно, и кнут в России был сохранен еще надолго.

Эта позорная страница в истории царствования «Александра Благословенного» не нашла достойного отра-

---

[1] «Архив графов Мордвиновых», т. V. СПб, 1902, стр. 684—687.
[2] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, АН СССР, т. XIII, стр. 91.

жения ни в казенной историографии, ни в истории Государственного совета империи, ни в трудах по истории телесных наказаний в России. Для того чтобы осветить эту мрачную историческую страницу александровского царствования, понадобилось обратиться к переписке современников и архивам, и прежде всего, конечно, к переписке и дневникам братьев Тургеневых — Александра и Николая Ивановичей. Оба они в свое время занимали видные места в Государственном совете: первый был в нем помощником статс-секретаря, а второй статс-секретарем, трудившимся к тому же над проектом реформы русского Уголовного процесса.

В то время, когда проект об отмене кнута обсуждался в Петербурге, Николай Иванович Тургенев был подвергнут опале и путешествовал по странам Западной Европы. Это был тот самый «хромой Тургенев», о котором Пушкин, изображая декабристов, в своей сожженной, так называемой десятой главе «Онегина» сказал:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Дневник Николая Ивановича Тургенева за 1824—1826 годы сохранился только в двух печатных экземплярах (он должен был составить выпуск 7-й известного «Архива братьев Тургеневых» и выйти в свет в 1930 году, но по каким-то причинам не вышел).

Переписываясь с братом, Александром Ивановичем, оставшимся в Петербурге, Николай Иванович иногда писал в своем заграничном дневнике о новостях, которые становились ему известны из писем брата. Но о спорах, разгоревшихся в Государственном Совете об отмене кнута, в дневнике Николая Ивановича нет ни слова...

Николай Иванович Тургенев, декабрист (так же, как Мордвинов и Сперанский), намечавшийся, как сказано, в случае победы восстания в состав Временного правительства, в дни восстания продолжал еще свое заграничное путешествие, он отказался, как известно, явиться в Петербург, на суд, был заочно приговорен к смертной казни — и до старости прожил за границей.

В конце своей жизни он издал в Лейпциге письма брата, сбереженные им, но и в этой переписке нет ничего, касающегося обсуждения в 1824 году в Государственном совете вопроса об отмене в России кнута и плети. Оставалось попробовать обратиться к неизданной части обширного архива братьев Тургеневых, хранящегося теперь в Ленинграде, в Пушкинском Доме. Письма Александра Ивановича к брату Николаю за 1824 год сохранились и тут, к сожалению, не полностью. Но среди них-то и отыскалось (я нашел его там в 1968 году) неизданное письмо Александра Ивановича к брату Николаю от 6 ноября 1824 года, содержащее интересующие нас сведения [1]. Вот оно:

«Теперь начались любопытные прения в нашем общем Собрании о кнуте, плетях и смертной казни. Мордвинов подал голос: умный, благородный и человеколюбивый. Большинство за отмену кнута и смертной казни. Со временем прочтешь журнал и голоса (т. е. «Журнал», или протокол Общего собрания Государственного Совета, и «голоса», т. е. мнения, поданные членами Совета.— *И. Ф.*). Для тебя не может быть это теперь тайной, ибо ты советский (т. е. числишься на службе в Государственном совете.— *И. Ф.*) и законодательный» (то есть состоишь в Департаменте законов того же Государственного совета.— *И. Ф.*). Итак, обсуждение вопроса об отмене кнута оставалось государственной тайной, и Александр Иванович Тургенев лишь очень осторожно писал обо всем этом брату за границу.

«Большинство за отмену кнута и смертной казни», то есть большинство членов Государственного совета,— сообщает в этом своем письме Александр Тургенев, не называя в своем письме «заступников кнута и плети». Но кто же составлял меньшинство? И нельзя ли установить имена «заступников кнута и плети», которые составили это меньшинство и выступили против смелого мнения Мордвинова? В литературе, связанной с историей русского уголовного права, мы встречаем при поисках ответа на этот вопрос только цифры, а не имена, к тому же разноречивые.

---

[1] Архив ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 309, № 230-б, л. 10.

В «Лекциях по уголовному праву» Н. С. Таганцева мы читаем: «На основании представленной Мордвиновым записки о кнуте, как орудии казни, была большинством голосов (18 против 14) предложена отмена этого наказания» [1].

В книге Н. Евреинова «История телесных наказаний в России» читаем: «В Государственном Совете при голосовании отмены кнута и клеймения 13 членов высказались в пользу этой реформы, четверо были против, один воздержался. Но варварские истязания после такого решения Государственного Совета не уничтожились. Оно осталось лишь на бумаге, не имея никакого практического значения» [2].

Имена и «голоса», то есть «мнения», «заступников кнута и плети» следовало искать, казалось бы, в архиве Государственного совета империи. Но, как ни странно, отвечающих нам на вопрос исторических документов там нет. В печатном «Архиве графов Мордвиновых», изданном в начале нашего века, с примечаниями историка В. А. Бильбасова (т. V, СПб., 1902, стр. 684), где собраны «мнения» адмирала Мордвинова, в том числе его мнение об отмене кнута, обсуждавшиеся в Государственном совете в 1824 году, мы читаем:

«В архиве Государственного Совета хранится «Дело Государственного Совета, общего собрания, об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей» (*Журналы*, № 3), причем никакого дела нет, а есть лишь следующая заметка на обложке: «В общем собрании 24-го октября 1824 года слушано внесенное графом Аракчеевым мнение комиссии, учрежденной в 1817 году для суждения об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей. По выслушании этого мнения положено: передать оное Члену Государственного Совета по департаменту Законов тайному советнику Сперанскому для присоединения к прочим бумагам по проекту от Комиссии Составления законов представленному. Исполнено по отношению к тайному советнику Сперанскому 2-го декабря 1824 г.» [3].

---

[1] Н. С. Таганцев. Лекции по уголовному праву. Часть общая. Вып. 1, СПб, 1887, стр. 170.

[2] Н. Евреинов. История телесных наказаний в России, СПб, т. I, стр. 97.

[3] «Архив графов Мордвиновых», т. VI, стр. 684.

Итак, уже к началу нашего столетия «Дело», которое могло бы дать ответ на интересующий нас вопрос, в архиве Государственного совета империи отсутствовало. Оно исчезло оттуда, и от него осталась только его обложка... Ну, а теперь? Случается, что «Дело», почему-либо исчезнувшее из архива или затерянное, много лет спустя возвращается на свое место, в тот же архив.

Со времен, когда Бильбасов обнаружил отсутствие этого архивного дела, прошло три четверти столетия. Следовало поэтому снова поискать его — прежде всего в том же архиве Государственного совета, который хранится теперь в составе Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. Архив этот помещается в великолепном доме графа Лаваля, который давно приобрел историческую известность — его можно назвать одним из архитектурных чудес старого Петербурга. Он стоит на набережной Невы, рядом со зданием Сената.

Итак, надо было подняться по великолепной гранитной лестнице дома Лаваля в читальный зал Центрального государственного исторического архива. Потолочные плафоны этого прекрасного зала сохранили яркость своей изящной росписи. Архив огромен. Весьма обширен и являющийся ныне частью его архив Государственного совета империи.

«Дела», об отсутствии которого (как и об отсутствии в нем «журналов» Государственного совета за 1824-й и 1825 годы) сожалел еще в начале нашего века Бильбасов, в нем нет, как выяснилось, и поныне...

Но Бильбасов в свое время, как сказано, прочел на обложке этого пропавшего «дела» заметку о том, что содержавшиеся в нем документы были пересланы Сперанскому 2 декабря 1824 года.

Оставалась, таким образом, надежда, что эти пропавшие исторические документы, до сих пор нам недоступные и неизвестные, могут обнаружиться среди бумаг Сперанского, которые хранятся ныне также в Центральном государственном историческом архиве, где мне довелось вести свои розыски, — в том же особняке Лаваля.

И документы эти здесь действительно обнаружились — они нашлись в «Деле № 22», озаглавленном

«Мнение Комитета относительно отмены наказания кнутом. Начато 1817 год. Кончено 1827 год. 36 листов». Архивный «Лист использования документов» в нем чист: никто, по-видимому, к этим документам, пролежавшим полтораста лет в бумагах Сперанского, до сих пор еще не обращался.

Среди этих бумаг и сохранились «Мнения, принадлежащие к журналу Государственного Совета о наказаниях; мнение адмирала Н. С. Мордвинова «О кнуте — орудии наказания» (от 6 октября 1824 года), мнение о том же князя Д. И. Лобанова-Ростовского от 20 октября 1824 года и другие пропавшие, казалось, документы, в том числе и извлечения из «журналов» Государственного совета, в которых запротоколированы были итоги обсуждения вопроса об отмене в России кнута и плетей...[1]

Здесь под заголовком «О казни кнутом», на листе 33-м этого архивного дела, и приведено было решение Общего собрания Государственного совета, о котором сказано:

«По предложению адмирала Мордвинова, большинством голосов полагается казнь сию отменить, заменив ее самым большим числом ударов плетей и выставкою (преступника.— *И. Ф.*) на эшафод.

Три члена: князь Лобанов (надо читать «князья Лобановы»; как увидим, здесь явная описка писца.— *И. Ф.*) и г. Генерал Сукин полагают не отменять»[2].

А на следующем листе, 34-м, под заголовком «О плетях» читаем:

«...Два члена (князья Лобановы) полагают оставить плети по-прежнему». Это были два брата: князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, министр юстиции, ставленник Аракчеева, и князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский, член Государственного совета, председатель Департамента законов этого Совета (и член Комитета министров).

Да, Пушкин, как мы убеждаемся, был обо всем этом деле осведомлен и исторически точен в своих стихах. Эти-то «знаменитые князья» Лобановы-Ростовские, «заступники кнута и плети», и были заклеймены поэтом.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. 1, д. № 22, лл. 37, след.
[2] См. названное выше «дело», л. 33.

Теперь приведем найденное нами в архиве «Мнение» князя Лобанова-Ростовского в защиту кнута, которое дошло, судя по всему, до Александра I и, вопреки решению большинства членов Государственного совета, одержало верх! Царь согласился, как мы убеждаемся, не с большинством Государственного совета, поддержавшим «мнение» Мордвинова о необходимости отмены кнута — орудия казни, а с мнением «заступников кнута и плети».

Вот это мнение министра юстиции князя Д. И. Лобанова-Ростовского (писарская копия, в конце которой означено: «подписал князь Лобанов-Ростовский» — «октября 20-го дня 1824 года») [1].

«Читанное в здешнем Собрании, истинно трогательное описание действия кнута, тревожа всякого воображение, нудит и меня признаться в невежестве, в коем пребывал я о возможности разрушать тем поносным орудием каменные даже стены, и хотя постигнуть ту степень искусства я и поныне не умею, остерегусь однако все повествуемое о том опровергать, но признавая и сам то орудие жестоким, не могу не находить у нас его народу полезным, и в отмене его видеть соблазное преступникам послабление; ибо вдруг скрыть от глаз невежд (зрелище.— *И. Ф.*) страшились, на кое толико лет взирая, не перестали содрогаться, было б по мнение моему тоже, что борзому коню поводья бросить.

Добавить еще должен, что и просвещение, смягчая нравы, уменьшать может злодеев только число (л. 17), а не уничтожить оных появление, следственно, как правительству, к поражению их, не угрожать им самосильнейшей строгостью закона в то наипаче время, в коем повсеместно и само просвещение бессильно случилось отклонить порождение извергов всякого рода в таковом числе, что и среди сущего мрака больше их не бывало. Одним словом, где гроза, тут и честь; я, держась сей истины, заключаю, что не отмена кнута нужна, но лучшее только распределение случаев употребления его».

Александр I, как сказано, согласился с мнением, изложенным в этом поистине щедринском документе, и кнут, орудие жестокого наказания, отменен не был.

[1] ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. 1, д. 22, л. 17 и 17 об.

* * *

Находясь в сентябре 1825 года за границей и осматривая в Германии один из средневековых замков, Александр Иванович Тургенев видел выставленные там как «памятники невежества и ожесточения, между древностями» орудия пыток и казней и записал под впечатлением этого зрелища 13/I сентября в своем дневнике:

«Мордвинов! Когда кнут будет у нас лежать с древностями, хотя бы и в Грановитой палате, то имя твое перейдет в потомство», «а «кн. Л-Р—х (т. е. князей Лобановых-Ростовских.— *И. Ф.*) герб украсится изображением кнута с девизом: близ царя — близ кнута! ...Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории — объяснит смысл сего девиза!» [1]

Эта обличительная запись показывает, что «подвиги подлости» князей Лобановых-Ростовских были А. И. Тургеневу хорошо известны. А обратившись к его подлинному дневнику, который хранится в Пушкинском Доме [2], в нем над словами этой записи: [«близ царя — близ кнута»] можно прочесть: «близ царя — близ грозы», и это показывает, что Тургенев, по-видимому, не только знал содержание «Мнения» в защиту кнута, но и читал его [поскольку в последнем было сказано: «где гроза, тут и честь» — и отмена кнута поэтому не нужна].

Нам остается объяснить значение пушкинского стиха, адресованного «защитникам кнута»: «Все наши женщины и дети Вам благодарны, как и я». Дело в том, что женщины, беременные или «питающие младенца грудью», по закону пытке и наказанию кнутом не подвергались [3]. Против этой льготы «знаменитые князья» не возражали, за что Пушкин саркастически и благодарит их. Впрочем, и эта «льгота» не всегда соблюдалась: об одном из таких ужасающих случаев, происшедшем во время следствия по делу об убийстве любовницы Арак-

---

[1] А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). Под ред. М. И. Гиллельсона. М.— Л., «Наука», 1964, стр. 298—299.

[2] Дневник А. И. Тургенева с 8 августа по 4 сентября 1825 г. Архив ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 309, № 3, л. 59 и 59 об.

[3] См.: «Архив Государственного совета», т. IV, ч. 2-я. СПб, 1874, стр. 859—862.

чеева Настасьи Минкиной, вспоминал позднее в «Былом и думах» Герцен [1].

Когда Пушкин напечатал свою сатиру на графа Уварова, врага великого поэта и автора знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность», Александр Тургенев заметил: «Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением.— Поделом вору и вечная мука!» [2]

«Бессмертным поношением» заклеймил он в своем так долго остававшемся загадочным наброске «защитников кнута и плети» — братьев Лобановых-Ростовских, имена которых стали нам теперь известны. Герб их, по слову Тургенева, должен был «украситься изображением кнута и девизом: «близ царя — близ кнута». Он, как помнит читатель, добавил: «Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории,— объяснит смысл сего девиза!» Смысл его теперь объяснился.

1965

Выводы настоящей работы, как можно отметить в заключение, полностью приняты в новом десятитомном собрании сочинений Пушкина, выпускаемом издательством «Художественная литература» (т. II, 1974 г., стр. 616—617. Примечания Т. Г. Цявловской); здесь указывается, со ссылкой на нашу работу, в связи с чем и на кого была в действительности написана эпиграмма «Заступники кнута и плети».

Мне кажется, что, не ограничиваясь этим верным, новым комментарием, нужно печатать теперь остававшуюся так долго загадочной пушкинскую эпиграмму под заголовком «На князей Лобановых-Ростовских».

---

[1] А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 9. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 88—89.

[2] А. И. Тургенев П. А. Вяземскому, 9/21 марта 1836 г. «Литературное наследство», т. 58, стр. 120.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ПУШКИНА

ЕКАТЕРИНА II И КНЯЗЬ Х.

Историческим анекдотом называли во времена Пушкина рассказ, характеризующий лицо историческое и сообщающий об эпизоде невымышленном, известном немногим, основанный на преданиях или неизданных исторических документах. Пушкин ценил, собирал и записывал эти предания. «Его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего столетия, и он любил их рассказывать» [1],— вспоминал близкий знакомый Пушкина Н. М. Смирнов, муж «черноокой Россети», приятельницы поэта.

«Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер,— записал в дневнике 9 января 1837 года друг поэта Александр Тургенев.— Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II» [2]. Один из таких исторических рассказов Пушкин записал и в числе других положил в пачку, которой дал название «Table talk» («Застольные рассказы»). Вот он:

«Некто князь Х., возвратившись из Парижа в Москву, отличался невоздержанностию языка и при всяком случае язвительно поносил Екатерину. Императрица велела сказать ему через фельдмаршала графа Салтыкова, что за таковые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а у нас недавно резали язык, что, не будучи от природы жестока, она для такого бездельника, каков Х., прав свой переменять не намерена, однако советует ему впредь быть осторожнее» [3].

---

[1] Н. М. Смирнов. «Из памятных записок». «Русский архив», 1882, кн. 1, стр. 229.

[2] «Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Государственное социально-экономическое издательство, 1939, стр. 204.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. 1949, АН СССР, т. VIII, стр. 93.

Суть рассказанного Пушкиным исторического анекдота состоит, разумеется, в том, что он призван охарактеризовать Екатерину. А между тем печатающийся в академическом издании комментарий неожиданным образом ставит это под сомнение, отрицая историческую достоверность пушкинского рассказа. Вот что читаем мы о нем в десятитомном академическом собрании сочинений Пушкина:

«Князь Х.— князь Хованский. В рукописи Пушкиным сделана зачеркнутая затем сноска о том, что это был князь Михаил Васильевич Хованский. На самом деле это — князь Никита Андреевич Хованский, упоминающийся среди прапорщиков, в 1731 г. уволенных в отставку; он вел крайне беспутный образ жизни и занимался тяжебными и судебными делами в такой степени, что был официально обвинен в ябедничестве, а 25 мая 1752 г. императрица Елисавета Петровна издала в связи с этим специальный указ об искоренении ябедничества. Таким образом, анекдот о Хованском относится ко времени царствования не Екатерины II, а Елисаветы Петровны» [1].

Кто же прав и кто допустил историческую ошибку — Пушкин или его ученые комментаторы?

Если верить этим комментаторам, Пушкин, в котором современники находили «сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные» [2], проявил в своем рассказе о Екатерине и князе Х. поражающее легковерие, записав какие-то россказни, в которых все искажено. Ибо действительно существовавший князь Никита Андреевич Хованский был будто бы совсем не тот Хованский, о котором почему-то рассказывает нам Пушкин; пострадал же настоящий Хованский вовсе не за то, что язвительно поносил Екатерину. Пушкин смешивает даже, по словам комментария, царствование Екатерины с царствованием Елизаветы, поделом наказавшей князя Н. А. Хованского. Превратно рассказанный Пушкиным анекдот, следовательно, не мог вообще иметь отношения к Екатерине.

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. 1949, АН СССР, т. VIII, стр. 537.

[2] Письмо А. И. Тургенева, 30 января 1837 г. «Русский архив», 1903, кн. 1.

Допустить историческую ошибку может, конечно, и Пушкин. Но степень отступления его от исторической истины здесь так высока, обращается он с ней так свободно, что мы могли бы даже заподозрить, будто перед нами не подлинный исторический анекдот, а вымышленный рассказ, созданный Пушкиным, по-видимому, с целью по-своему изобразить Екатерину. Известно, что Пушкин не чужд был жанру художественно-исторической мистификации. Достаточно вспомнить блестяще написанное самим Пушкиным — и выданное им за публикацию — мнимое письмо Вольтера к несуществовавшему Дюлису, «последнему из свойственников Иоанны д'Арк», который вызвал будто бы Вольтера на дуэль, прочитав «Орлеанскую девственницу» и оскорбившись этой кощунственной поэмой. Весь этот целиком вымышленный Пушкиным эпизод был великолепно стилизован им и выдан за эпизод подлинно исторический.

Не так же ли обстоит дело и с пушкинским рассказом о Екатерине и князе Х.? И нет ли возможности проверить, имел ли место в действительности этот исторический случай? Нельзя ли обнаружить хотя бы источник пушкинского рассказа, то есть выяснить, откуда мог почерпнуть Пушкин весь сюжет его и приведенные в нем слова Екатерины? Скажем заранее: никакой мистификации здесь не было, не было и ошибки. В руках Пушкина, как мы сможем вскоре убедиться, было подлинное письмо Екатерины II о князе Хованском, которое Пушкин верно и точно пересказал в своем историческом анекдоте.

Но прежде, чем привести лежавшее еще во времена Пушкина под спудом секретное письмо императрицы, попытаемся выяснить, каким образом стало оно доступно поэту.

«ОСТАВИТЬ В ФАМИЛИИ...»

Кроме имени князя Х., то есть князя Хованского, и самой Екатерины, в пушкинском анекдоте названо имя «фельдмаршала графа Салтыкова». Ему повелела Екатерина призвать к ответу князя Хованского. Кто же был этот Салтыков?

Не один, а три графа Салтыкова были лицами, близкими к Екатерине.

Граф Сергей Васильевич Салтыков, камергер, изве-

стный своей красотой, был ее фаворитом и, как думают, отцом Павла, будущего императора.

Другой Салтыков, граф Николай Иванович, впоследствии фельдмаршал, стал воспитателем внука Екатерины, будущего императора Александра I, и, по словам секретаря Екатерины Грибовского, долго был «первым почти при дворе лицом».

Третий же Салтыков, граф Петр Семенович, герой Семилетней войны и победитель Фридриха при Кунерсдорфе, знаменитый фельдмаршал, был при Екатерине главноначальствующим в Москве. Ему слала туда из Петербурга письма и повеления Екатерина. Пушкин знал о его существовании, в отличие от своих комментаторов, и хотя граф П. С. Салтыков умер незадолго до Пугачевского восстания, имя его упомянуто поэтом в материалах к «Истории Пугачева».

В своем анекдоте Пушкин сообщает, что императрица повелела графу Салтыкову призвать Хованского к ответу после того, как тот возвратился из Парижа в Москву (где «язвительно поносил Екатерину»). Ему, как московскому генерал-губернатору, и должна была поэтому послать Екатерина повеление о князе Хованском. Повеление ее, следовательно, могло быть письменным.

Когда граф Петр Семенович Салтыков умер, императрица была озабочена судьбой адресованных ему, часто не терпящих дневного света секретных писем, о чем она писала в Москву 2 января 1773 года преемнику графа П. С. Салтыкова князю М. Н. Волконскому. У покойного графа, говорит Екатерина в этом письме, «я чаю, множество моих писем осталось по разным делам... И естьли оных найдут, то чтоб собрали их в одно место, а вы их своею печатью запечатайте.

Я не спорю, не замай, останутся в фамилии, но еще рано, чтоб иные в руки попались, кому до них дела нету. И прикажите оных писем после графу Ивану Петровичу (т. е. сыну покойного П. С. Салтыкова.— *И. Ф.*) отдать с тем, чтобы он их сохранял и они б,— повторяет Екатерина,— не попались всякому в руки» [1].

Пусть «останутся в фамилии»...

---

[1] Это письмо Екатерины II было опубликовано только через сто лет в историческом сборнике «Осьмнадцатый век», изд. П. Бартеневым, кн. 1-я, 1868, стр. 86, а письма ее к графу П. С. Салтыкову (за 1762—1771 гг.) — в «Русском архиве», 1886, кн. 3-я.

Желание императрицы было исполнено. Письма ее остались в семье наследников графа П. С. Салтыкова, а век спустя в печати было указано, что письма эти должны храниться у потомков его — Мятлевых.

КРЕСТНИК ИМПЕРАТРИЦЫ

След знакомства Пушкина с письмом Екатерины о князе Хованском обнаруживается в самом деле в переписке Пушкина с поэтом Мятлевым, крестником Екатерины II и правнуком графа П. С. Салтыкова, которому Екатерина повелела призвать и постращать князя Хованского.

Мятлев был приятелем Пушкина, который был с ним на «ты» и не только писывал с ним вместе шутливые стихи, но думал даже продать ему «медную бабушку», то есть колоссальную статую Екатерины II, принадлежавшую дедушке Натальи Николаевны А. Н. Гончарову, полученную Пушкиным взамен обещанного ему приданого.

«Мысль о покупке статуи еще не совершенно во мне созрела,— писал Пушкину по этому поводу Мятлев в марте 1832 года,— и я думаю, и тебе не к спеху продавать ее... Как помнится мне, в разговоре со мной о сей покупке... ты мне сказал: — *Я продам тебе по весу Екатерину...»*[1] Выбор пал, таким образом, на Мятлева не случайно.

Пушкин знал, оказывается, что к Мятлеву перешли по наследству письма крестной матери его, Екатерины II, к прадеду его, графу П. С. Салтыкову. Письмами этими Пушкин заинтересовался во время своих занятий «Пугачевым» и историей екатерининского времени. И Мятлев, не спеша купить у Пушкина медную статую своей крестной, охотно согласился ознакомить Пушкина с неизданными бумагами императрицы.

«Бумаги мои готовы и тебя ожидают,— писал он Пушкину 1 марта 1833 года,— когда ты прикажешь, мы за дело примемся»[2]. Что речь шла именно об этих екатерининских бумагах, подтверждает продолжение мятлевского письма. «Но и ты не можешь ли чем покормить душу? — спрашивает он Пушкина,— нет ли второго тома

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16-ти томах. АН СССР, т. XV, стр. 16.

[2] Там же, стр. 52.

Храповицкого? (т. е. неизданных записок знаменитого в свое время секретаря Екатерины II.— *И. Ф.*) Нет ли чего-нибудь столь же интересного? Нет ли чего-нибудь великой жены? Ожидаю твоего ордера»[1] (т. е. приказания), прося Пушкина назначить день, когда они начнут вместе читать заинтересовавшие поэта бумаги Екатерины. Среди этих писем императрицы Пушкин и прочел письмо Екатерины к графу Салтыкову о дерзком князе Хованском. Вот оно:

«Секретно.

Граф Петр Семенович. Дошло до моих ушей, что некто именем князь Александр Васильев сын Хованской не пропускает случай, чтоб все мои учреждения и всех моих поступков не толковать злодейской дерзостию и дать им вид совсем моим намерениям противный. Он прежде сего был во Франции, но позабыл, знатно, что в Париже за то сажают в Бастилью, умалчивая о том, что за то прежде сего воспоследовало в России. Но как я склонности к жестокости не имею, а нрав свой для сего бездельника переменить не намерена, того для призовите его к себе и скажите ему от себя, что вы, вышеописанного услыша, оставляете о подлинности того исследовать до времени, а между тем хотите ему дать приметить, чтоб он мог воздержаться вперед; что подобным поведением он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет. И после сей короткой аудиенции отпустите его домой, не принимая много оправдания от сего ябедника.— Впрочем остаюсь, как всегда, к вам весьма доброжелательна. *Екатерина.*

Санкт-Петербург. 29 (месяца в подлиннике не означено.— *И. Ф.*) 1766»[2].

«И ВОРОН КОСТЕЙ НЕ СЫЩЕТ...»

Анекдот о Екатерине II Пушкин записал по памяти. Это видно из того, что имя князя Хованского — Александр (названное в письме Екатерины) — Пушкин с точностью вспомнить не мог, хотя запомнил отчество и фамилию князя. В текст же анекдота Пушкин внес два изменения по сравнению с письмом Екатерины:

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16-ти томах. АН СССР, т. XV, стр. 52.

[2] «Русский архив» 1886 г., кн. 3, стр. 51—52.

«Императрица велела сказать ему... что за таковые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а у нас недавно резали язык»,— читаем мы у Пушкина. Между тем как в письме Екатерины лишь глухо сказано: «В Париже за то сажают в Бастилью, умалчивая о том, что за то прежде сего воспоследовало в России». То есть Екатерина в своем письме только разумеет, что «за таковые дерзости» «у нас» (как прямо пишет, в отличие от императрицы, Пушкин) «недавно резали язык». Пушкин раскрыл фигуру умолчания, к которой многозначительно прибегла в своем письме Екатерина, выразил смысл ее пластически и резко обострил этим свой исторический рассказ.

Вслед за тем Пушкин приводит подлинные слова Екатерины, «что, не будучи от природы жестока, она для такого бездельника, каков Х., нрав свой переменять не намерена, однако советует ему впредь быть осторожнее».

Между тем в письме императрицы содержалась прямая угроза: она приказала передать князю Хованскому, что «подобным поведением он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет».

Эту угрозу Пушкин опустил, может быть, по цензурным соображениям, предполагая напечатать свой анекдот.

Строки эти удивительны под пером «кроткой Екатерины», знающей цену ласковому, обходительному слову и лицемерной: она была так сильно раздражена отзывами князя Хованского, «дошедшими до ее ушей», что ей пришла на язык грозная пословица.

В постскриптуме же к своему письму Екатерина писала — по-французски — графу Салтыкову: «Постращайте его хорошенько, чтобы он сдержал отвратительный свой язык; ибо иначе я должна буду сделать ему больше зла. нежели сколько причинит ему эта острастка»[1].

Императрица здесь еще только грозит. Поздней, испуганная Пугачевским восстанием и Французской революцией, она показала свою жестокость. Молодой Пушкин поэтому писал о ней в 1822 году: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского («домашний палач кроткой Екатерины»,— поясняет здесь Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был

[1] «Русский архив», 1886, кн. 3, стр. 52.

сослан в Сибирь»[1] (в край, «где и ворон костей не сыщет», которым грозила в свое время императрица князю Хованскому).

«БРАТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО»

Была ли все-таки допущена Пушкиным какая-нибудь ошибка в записи, точнее — в окончательном тексте его анекдота о Екатерине и князе Хованском? И почему Пушкин зачеркнул указанные им сначала в сноске имя, отчество и фамилию князя?

Ошибки не произошло. Сноску, именовавшую сначала князя Х. «князем Михаилом Васильевичем Хованским», Пушкин зачеркнул в рукописи целиком, решив от нее отказаться. Не потому только, может быть, что, помня фамилию и отчество Хованского, сомневался, верно ли запомнил он собственное имя князя (назвав Михаилом, в то время как его звали Александром). Вероятней, что Пушкин счел нужным в конце концов назвать лишь титул и указать инициал его, не раскрывая полностью его фамилию. Ибо могли быть еще живы близкие потомки князя, для которых нежелательно было бы оглашение фамилии его в историческом анекдоте.

К тому же для этого пушкинского рассказа о Екатерине имя, отчество и даже полностью раскрытая фамилия князя Хованского существенного значения не имели бы. Сказанное можно, мне кажется, пояснить наглядно, сравнив этот анекдот с другим анекдотом о Екатерине, который Пушкин занес в свой дневник 21 мая 1834 года. Начинается он сходно с анекдотом «Некто князь Х.»:

«Некто Чертков, человек крутой и неустойчивый, был однажды во дворце. Зубов (последний фаворит Екатерины.— *И. Ф.*) подошел и обнял его, говоря: «Ах ты, мой красавец!» Чертков был очень дурен лицом. Он осердился и, обратясь к Зубову, сказал ему: «Я, сударь, своею фигурою фортуны себе не ищу». Все замолчали. Екатерина, игравшая тут же в карты, обратилась к Зубову и сказала: «Вы не можете помнить *такого-то* (Черткова по имени и отчеству), а я его помню и могу вас уверить, что он очень был недурен»[2].

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР, 1949, т. VIII, стр. 125.

[2] Там же, стр. 51.

Пушкин не помнил или не знал имени и отчества Черткова, записывая этот анекдот о нем (как не вспомнил раньше имени князя Хованского). Но так как по смыслу нового анекдота важно было пусть не самое имя и отчество Черткова, а то, что императрица помнила его и назвала по имени и отчеству, Пушкин, записывая слова императрицы, подчеркивает это, ибо в данном случае это было нужно и существенно.

Несмотря на то, что возможная ошибка в личном имени князя Хованского, как мы убедились, была избегнута Пушкиным, зачеркнутая им в рукописи сноска вовлекла почему-то комментаторов пушкинского анекдота в странные заблуждения. Анекдот этот в дореволюционных изданиях не комментировался вовсе. Недоразумения начались в юбилейном издании сочинений поэта, вышедшем к столетию его гибели, где можно прочесть: «Рассказ относится не к князю Михаилу Васильевичу Хованскому, так как такого не существовало, а к одному из его братьев»[1]. Брат человека, которого не существовало... Выражение отчасти загадочное, но о каком же князе Хованском говорится в пушкинском анекдоте, в этом комментарии выяснено не было.

Не определив, кто был пушкинский князь Хованский (и неправильно указав вместе с тем, о каком графе Салтыкове говорится в пушкинском анекдоте), комментарий этот все-таки не отрицал, что анекдот представляет собой рассказ о Екатерине. В академическом десятитомном издании, вышедшем впервые к стапятидесятилетию со дня рождения Пушкина, отрицается, как помнит читатель, даже и это. Составители нового академического комментария не сочли нужным даже заглянуть в рукопись Пушкина, где весь анекдот сначала был попросту озаглавлен Пушкиным «О Екатерине II».

Этот ложный комментарий напечатан трижды — во всех трех изданиях академического десятитомника сочинений Пушкина. А между тем он начинает переходить в другие авторитетные собрания сочинений Пушкина[2]

Но исправлением ошибки в комментариях история пу-

---

[1] Полное собрание сочинений в 9 томах, т. IX. М., «Academia», 1937, стр. 761.

[2] См. десятитомник, изданный Государственным издательством художественной литературы, т. 7, 1962, стр. 403.

шкинского анекдота о Екатерине II и князе Хованском не кончается. Она, оказывается, имела неожиданное продолжение.

«СЕНО ВМЕСТО ШАРА»

Угомонился ли князь Хованский после того, как Екатерина пригрозила, что «он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет»? Оказывается, нет. Екатерине пришлось возвратиться к Хованскому на следующий же год после полученной им жестокой острастки. Об этом говорит нам новое письмо разгневанной императрицы, написанное ею в день открытия «славной комиссии об уложении». «Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная»,— писал об этой екатерининской комиссии Пушкин... А знаменитый «Наказ», написанный для комиссии самой Екатериной, Пушкин назвал лицемерным, вызывающим праведное негодование[1].

Князь Александр Хованский стал, как мы узнаем, депутатом «славной комиссии» и по-своему воспользовался этим, ознаменовав торжество открытия ее неожиданной дерзостью.

Открытие «Уложенной комиссии» состоялось в чрезвычайно помпезной обстановке 30 июля 1767 года. После молебна в Успенском соборе, куда Екатерина прибыла в императорской мантии, с малой короной на голове, императрица приняла в кремлевском дворце депутатов комиссии, стоя на тронном возвышении. По правую сторону ее на столе, покрытом красным бархатом, лежал «Наказ». На другой день, 31 июля, депутаты были торжественно собраны в Грановитой палате Кремля и приступили к избранию маршала комиссии. Императрица из сделанного над Грановитой палатой старинного тайника следила за этими выборами.

Генерал-прокурор ударил жезлом, депутатам розданы были шары, и приступили к баллотированию. «Не можно было надивиться, с какой тишиною и благоговением все в сем столь многочисленном собрании происходило»,— писал с умилением в тот же день статс-секретарь императрицы Козмин. Маршалом комиссии из числа знатнейших особ, получивших наибольшее число голосов, утвер-

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР, 1949, т. VIII, стр. 127.

жден был императрицей Александр Ильич Бибиков, будущий усмиритель Пугачева.

Началось чтение «Наказа», который «был слушан с восхищением, многие плакали»,— говорит дневная записка комиссии. И вот в этой торжественной обстановке один из депутатов совершил при избрании маршала дерзкую выходку, о которой тотчас было донесено императрице. Разгневанная Екатерина в тот же день писала графу П. С. Салтыкову, посылая ему вместе с письмом «напоминание», которое должно было быть прочитано им на другой день депутатам комиссии:

«К соблазну всего собрания усмотрено, что некто, невежа, дерзнул при вчерашнем торжественном первом акте употребить неистовую и непристойную шалость, и клал сено вместо бала... Я именем всего собрания даю ему знать то неудовольствие, которое на него пало, и сей раз, не исследывая далее, кто он таков, довольствуюся тем, чтоб сделать ему сей публичный при всех выговор... А впредь не могу я от него скрыть, что я, если он не уймется... по открытии его имени, предложу к выключению его из собрания». В заключение же Екатерина собственноручно по-французски добавила: *«Говорят, что дерзость эту сделал князь Александр Хованский»* [1].

(Исключение князя Хованского из состава Комиссии, которым грозила Екатерина, по-видимому, произошло, так как имя его в официально изданном списке ее членов не значится.) Это были уже не только словесные нападки Хованского, который и раньше «при всяком случае язвительно поносил Екатерину», а «неистовая и непристойная шалость», то есть дерзкая публичная демонстрация против императрицы и ее лицемерного наказа, демонстрация неуважения к верховной власти и всей «фарсе наших депутатов» (которая, по словам Пушкина, была «столь непристойно разыграна» Екатериной).

Пушкин знал, по-видимому, и об этом новом эпизоде, ибо прочел, вероятно, и второе письмо Екатерины о князе Хованском. Вместе с другими письмами императрицы к графу П. С. Салтыкову оно лежало в библиотеке ее крестника Ивана Мятлева, который так радушно пригласил Пушкина прочесть вместе с ним эти письма.

---

[1] Письмо Екатерины II от 31 июля 1767 г. «Русский архив», 1886, кн. 3, стр. 60—61.

Прочитав новое письмо Екатерины, Пушкин мог бы дополнить свой анекдот о ней и князе Хованском, добавив, что князь не угомонился и после жестокой острастки. Мог бы дополнить. Но не сделал этого. Почему — нам не известно.

«ТАРТЮФ В ЮБКЕ И В КОРОНЕ»

В своих «исторических замечаниях о XVIII веке» Пушкин высказал резкий взгляд на Екатерину и ее царствование. Замечательно, однако, что, даже разоблачая ее лицемерие и другие «отвратительные пороки», называя добродетели ее «добродетелями Тартюфа в юбке и в короне», поэт судил о Екатерине так же, как судил о Петре I,— с присущей ему исторической объективностью, диалектически. Петра в рукописи своих «Исторических замечаний» называл он и «великим человеком», и «деспотом». А признавая «великие права Екатерины на благодарность русского народа» за исторические заслуги ее — укрепление международного положения и расширение границ России, получившей в годы ее царствования выход к Черному морю,— Пушкин обличал вместе с тем «жестокую деятельность ее деспотизма, под личиной кротости и терпения» и сказал, что ничто поэтому не избавит «ее славной памяти от проклятия России».

* * *

Такова история пушкинского анекдота о Екатерине II и князе Хованском. Как все исторические изыскания поэта, она говорит о серьезности, тщательности и добросовестности приемов его работы: перед нами образец мастерского использования и обработки документального источника. «Добросовестность труда — порука истинного таланта» [1],— писал Пушкин.

Великий писатель брал свое добро повсюду, где находил его, шла ли речь о работе над великими историческими полотнами — «Историей Пугачева» и незавершенной «Историей Петра» — или всего только о характерном эпизоде екатерининского царствования, отраженном в малой форме исторического анекдота.

1971

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XI, стр. 180.

УПУЩЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

В числе пушкинских рукописей, собранных в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, находится Кишиневская тетрадь, переданная три четверти века назад сыном поэта Московскому Румянцевскому Музею, где она и хранилась в течение многих лет под № 2365. В ней содержатся текст поэмы «Кавказский пленник», а также черновики и планы некоторых других известных произведений Пушкина [1].

Между листами этой тетради, перенумерованными красными жандармскими чернилами тотчас после смерти поэта, когда рукописи его были опечатаны по повелению Николая I, можно заметить корешки вырванных и уничтоженных самим Пушкиным страниц. Интересующая нас тетрадь уже в 1884 году была описана лист за листом В. Е. Якушкиным (внуком декабриста) в его известном труде «Рукописи А. С. Пушкина» [2].

Но несмотря на то, что рассматриваемая тетрадь многократно являлась предметом внимания исследователей, в ней содержатся, как можно убедиться, две черновые страницы, ускользнувшие по каким-то причинам от редакторов сочинений Пушкина. Содержащиеся на этих страницах черновые варианты не вошли в свое время и в том 11-й Большого академического издания сочинений поэта.

Страницы эти образуют ныне в пушкинской тетради разворот, левой стороной которого является лист 66 об., а правой стороной — лист 67. Они относятся к черновику прозаического отрывка, предназначавшегося для «Запи-

---

[1] Архив Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, ф. 244, оп. 1, № 831.

[2] См.: «Русская старина», 1884, апрель, стр. 87—110.

сок» поэта, которые были сожжены им после 14 декабря 1825 года.

Беловой, окончательный текст этого отрывка известен в печати давно, благодаря тому, что текст его сохранился случайно в бумагах Н. С. Алексеева, кишиневского приятеля поэта: Пушкин отдал ему для переписки этот собственноручно написанный в 1822 году отрывок своих «Записок», задолго до того, как принужден был уничтожить свой труд [1].

Этот беловой отрывок был впервые опубликован — по цензурным условиям в чрезвычайно урезанном виде — в 1859 году Е. И. Якушкиным (сыном декабриста), который сообщал тогда в «Библиографических записках»: «В сборнике нашем ненапечатанных сочинений Пушкина есть несколько отрывков, важных для будущего биографа поэта...» «Начнем с записок Пушкина»,— писал Е. И. Якушкин, публикуя рассматриваемый отрывок, в котором «Пушкин бегло излагает свой взгляд на царствования преемников Петра I» [2]. В более полном виде отрывок этот увидел свет лишь много лет спустя в «Русской старине», где помещен был под заголовком «Взгляд на царствования Петра I и Екатерины II» [3]. В собраниях сочинений Пушкина он печатается теперь обычно под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века».

После того, как отрывок был напечатан по копии белового автографа, уцелевшей в бумагах Н. С. Алексеева, в печати стали появляться — сначала, правда, в очень неполном и неточном виде — черновые варианты к нему, посвященные Пушкиным характеристике Петра I и обнаруженные на одной из страниц (л. 61) той именно Кишиневской тетради поэта, к которой мы должны ныне вернуться, поскольку в ней содержатся, как оказалось (на лл. 66 об. и 67), непубликовавшиеся пушкинские строки, посвященные характеристике Екатерины II.

После разгрома восстания 14 декабря Пушкин, сжегши беловую рукопись своих «Записок» и «боясь тщатель-

---

[1] Переданный Н. С. Алексееву беловой список отрывка датирован Пушкиным 2 августа 1822 года. См. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. АН СССР, т. XI, стр. 14—17.

[2] «Библиографические записки», 1859, № 5, стр. 130.

[3] См.: «Русская старина», 1880, декабрь, стр. 1043 и след.

ного обыска... не пожалел и черновых листов». Так поступил он и с рассматриваемой нами Кишиневской тетрадью. Но, вырывая из нее черновик отрывка, в котором исторически обосновывалась необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права, Пушкин уничтожил свой черновик не полностью. В тетради поэта уцелели, оказывается, три страницы черновика; опубликована же была из них, как сказано, лишь одна — содержащая варианты, относящиеся к Петру I.

Между опубликованными нами остальными двумя уцелевшими страницами пушкинского черновика виден корешок вырванного рукой Пушкина листа, на котором так же, как на этих уцелевших страницах, находилась часть текста, посвященная характеристике Екатерины II.

По содержанию эти страницы черновика близки к известному нам беловому тексту пушкинского отрывка. Вместе с тем они показывают, с какой настойчивостью Пушкин работал над создаваемыми им в кишиневский период историческими страницами своих «Записок» и какое значение придавал стилистической отделке их.

На л. 66 об. после зачеркнутого вверху двустишия («Овидий, я брожу...») читаем:

> «Униженная Швеция и уничтоженная Польша, [уни] [усмиренная Турция] — вот истинные права Екатерины на [нашу] благодарность Русского народа — но [время] [потомству] современем истина оценит влияние ее царствования на нравы, откроет [жестокость] жестокую деятельность ее деспотизма, под маскою кротости и терпимости, [покажет] народ, угнетенный ее наместниками, казну расхищенную [любимцами] любовниками, [войско] (нрзбр.) [тиранство], [откроет] покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, [мелочное шарлатанство] отвратительное фиглярство в сношениях [с Вольтером и] философами [сластолюбицы] 18 столетия» [1].

Этой странице пушкинского черновика соответствует в беловом печатном тексте отрывка абзац пятый. В числе приведенных черновых вариантов, относящихся к ха-

[1] Слова, зачеркнутые Пушкиным, заключены в приводимом тексте в прямые скобки; неразобранные слова и части слов обозначены пометкой «нрзбр».

Страница «Упущенного черновика»
(Из Кишиневской тетради Пушкина).

рактеристике Екатерины и ее царствования, обращает на себя внимание слово «тиранство», отсутствующее в окончательном, беловом тексте отрывка. Зачеркнутое Пушкиным слово «войско» дает, судя по контексту, основание предполагать, что Пушкин первоначально имел в виду упомянуть здесь о вопиющих недостатках, обнаружившихся в управлении и обеспечении русского войска к концу царствования Екатерины II.

На листе 67-м мы находим черновой текст, соответствующий абзацу восьмому белового пушкинского текста[1]. Приведем этот черновой текст, начало которого говорит о том, что Екатерина уничтожила «звание» —

> «(справедливее [скорее] название) рабства; а [сама] [дарила государственные поместья] [государственных крестьян] раздарила около [300.000] 200.000 государственных крестиян (т. е. свободных [землепашцев], хлебопашцев). [Екатерина] уничтожила звание раб, и закрепостила [часть] вольную Малороссию, Екатерина уничтожила пытку, и тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением —
>
> [Новиков, Радищев, Княжнин] [Новиков и Радищев были] Княжнин умер под розгами [Шишковского][2].
>
> Екатерина любила просвещение — и [почтенный Новиков, более всех] Новиков [первый] распространивший первые лучи его [был] из рук кровавого Шишковского перешел во мрак темницы. Радищев [находился] до конца жизни (?) ее (?) [был] [сослан] в Сибирь. Кн.<яжнин> умер под розгами — [Знаю, что Кандид и Белый бык были напеча<таны>] (нрзбр.) и Фон-Визин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, еслиб не чрезвычайная его известность».

Критикуя влияние царствования Екатерины II на «политическое и нравственное состояние России» и говоря о «важных ошибках ее в политической экономии», Пушкин не только с возмущением вспоминает о том, что Екатерина, уничтожив на словах звание «раб», щедро дарила

---

[1] Счет абзацев указываем общий для всего печатного белового отрывка (а не по страницам его). Указанный абзац см.: Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XI, стр. 15—16.

[2] Против этих двух последних строк Пушкин поставил на полях знак, показывающий, что они должны быть использованы ниже.



Известная ранее страница того же черновика с рисунками Пушкина (и строками, относящимися также к царствованию Екатерины).

своим фаворитам государственные поместья и закрепостила вольную Малороссию. Подчеркнув, что Екатерина вместе с государственными поместьями дарила приписанных к ним «свободных хлебопашцев», превращая в помещичью собственность государственных крестьян, Пушкин считает нужным указать и число их. В черновике он заметил, что Екатерина раздарила около 200 тысяч свободных хлебопашцев. Но затем, уточнив, указал в беловом, окончательном тексте, что Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестиян» [1].

Это заслуживает внимания не потому только, что Пушкин проявил здесь стремление к исторической точности, но и потому, что окончательно установленная им

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XI, стр. 16

цифра свидетельствует о несомненной осведомленности его. Говоря об усилении крепостного права в царствование Екатерины II, В. О. Ключевский позднее отметил, что «количество приведенных в известность крепостных, розданных в течение этого царствования в частное владение, простиралось до 400 000 ревизских душ, т. е. почти до миллиона действительных душ» [1]. Эту же цифру — «около миллиона» — назвал в своем окончательном тексте и Пушкин.

В беловом варианте читаем:

«Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шишковского («домашний палач кроткой Екатерины»,— поясняет Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти» [2].

В приведенных выше черновых вариантах к этому пушкинскому тексту сохранились, как видим, выразительные эпитеты, характеризующие и Новикова и Шешковского: Новикова Пушкин назвал в черновике «почтенным», а Шешковского — «кровавым».

«Княжнин умер под розгами»,— пишет Пушкин и в черновом, и в окончательном тексте отрывка, повторяя предание о том, что Княжнин умер под пыткой. В черновике Пушкина, вслед за словами «Княжнин умер под розгами», можно прочесть зачеркнутую, но чрезвычайно интересную по содержанию строку, обличающую лицемерие Екатерины: «Знаю, что Кандид и Белый бык были напечатаны». Смысл этой недописанной и зачеркнутой фразы состоит в том, что названные Пушкиным повести Вольтера были опубликованы в России под покровительством самой Екатерины. Как известно, по желанию императрицы в 1768 году была учреждена «комиссия для печатания на русском языке хороших иностранных книг», наметившая к изданию сочинения Вольтера. Его прославленный «Кандид» вышел в Петербурге в следующем, 1769 году [3]. «Белый бык» — вторая из названных Пушкиным фило-

---

[1] В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V. П., 1921, стр. 94.

[2] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XI, стр. 16.

[3] Позднее «Кандид» дважды переиздавался в царствование Екатерины II. См.: Д. Д. Языков. Вольтер в русской литературе. М., 1902, стр. 6 и 14.

софских повестей Вольтера — также была переведена и издана в России при ближайшем участии самой Екатерины [1].

Пушкин в своем черновике саркастически напоминает об этом. Ибо Княжнин, по его словам, умер под розгами в Тайной канцелярии, которая «процветала под... патриархальным правлением» той самой Екатерины, под высочайшим покровительством которой издан был в России «Кандид». Между тем как раз в этой повести Вольтер рассказывает, «как Кандид был высечен». Здесь именно, вспомнив любимую сентенцию своего учителя Панглоса об «этом лучшем из миров», только что высеченный Кандид, «испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий», произносит свою знаменитую фразу: «Если это лучший из миров, то каковы другие?» Эти всем известные слова Кандида, как и плачевная участь его, не могли не вспомниться читателям, которым Пушкин намерен был адресовать свои бичующие Екатерину строки.

Но заслуживает, пожалуй, внимания и другое: в этом месте своего черновика Пушкин неожиданно говорит от первого лица: «Знаю, что Кандид» и т. д. Предание о том, что Княжнин «умер под розгами» в Тайной канцелярии (где он был, в самом деле, допрошен Шешковским), остается исторически не подтвержденным. Но Пушкин недаром дважды повторяет его в черновике и, не сомневаясь, по-видимому, в истинности его, сохраняет в окончательном тексте отрывка.

Пушкин, когда писал эти строки, вспоминал, разумеется, и о своей политической судьбе, повторявшей судьбу его предшественников. «Радищев,— писал он,— был сослан в Сибирь». В Сибирь грозил сослать Пушкина и Александр I. «Воображаемый разговор» свой с Александром I Пушкин также закончил, как известно, тем, что царь ссылает его в Сибирь. А повторяя, что во времена Екатерины «Княжнин умер под розгами», Пушкин не мог не вспомнить распространявшийся его врагами слух о том, будто сам он также был «высечен» в Тайной канцелярии.

---

[1] «Белый бык» вышел впервые в русском переводе в 1779 году, как вспоминал в свое время М. М. Дмитриев. См. его «Мелочи из запаса моей памяти». Изд. 2-е. М., 1869, стр. 48.

«Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен»,— писал Пушкин из михайловской ссылки в 1825 году в своем неотправленном письме к Александру I. «До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении... Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В» [1],— писал далее Пушкин, признаваясь, что у него возникла в то время мысль о цареубийстве. Вот отчего с такой настойчивостью Пушкин возвращался к судьбе Княжнина, повторяя глухое предание о том, что писатель этот был «высечен» в Тайной канцелярии.

Резко критикуя Екатерину и ее царствование, Пушкин, как видим, с необыкновенной смелостью обличал самодержавие, его отношение к литературе и русским писателям.

1956

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X М. Изд-во АН СССР, стр. 784 (оригинал на французском языке)

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПЯТОЙ...»

Судьба пушкинского рукописного наследства, точнее — запретной части его, была катастрофической, так же как судьба самого поэта. Дело не только в том, что некоторые рукописи Пушкина были в свое время уничтожены или потеряны. Даже когда удается обнаружить какие-нибудь из этих неизвестных рукописей, часто оказывается, что найденные пушкинские рукописи дошли до нас в таком состоянии, что остаются во многом недоступны читателю. Ибо Пушкин многое писал для себя, сокращенно, начерно или даже условным способом, закрепляя наскоро свои мысли. Для того чтобы расшифровать и понять эти страницы — а великое множество их содержится в исторических тетрадях поэта,— нужна еще большая работа, даже если эти рукописи уже появились в печати.

УЦЕЛЕВШИЙ КЛОЧОК

До нас дошел обрывок страницы, клочок бумаги, оторванный Пушкиным от большого листа. Клочок этот невелик, но важен. Пушкин быстро записал на нем в минуту вдохновения всю суть озарившей его исторической концепции: он решал вопрос о борьбе самодержавия с русской аристократией, безуспешно стремившейся ограничить в свою пользу верховную власть.

Места на клочке недостало, и последние строки, где поэт так образно назвал Петра I «воплощением революции» — революции сверху! — «одновременно Робеспьером и Наполеоном», Пушкину пришлось написать поперек только что написанных им, еще не просохших строк.

Касаясь попытки преобразования государственного устройства России, предпринятой в начале царствования

Александра I знаменитым Сперанским, Пушкин среди прочего написал на этом клочке (по-французски): *«Сперанский, беспокойный и невежественный попович»* [1]. Слова эти написаны рукой Пушкина и принимаются обычно как выражение его мнения о Сперанском.

А между тем из дневника поэта мы знаем, что о Сперанском, человеке большого ума и огромных знаний, Пушкин был высокого мнения, и в комментариях к ученому изданию пушкинского дневника можно прочесть поэтому целое рассуждение, пытающееся объяснить, каким образом Пушкин мог назвать Сперанского в своем дневнике «Гением блага», стоящим в дверях царствования Александра I и вместе с тем считать его «беспокойным и невежественным поповичем». «Трудно согласовать столь различные суждения об одном и том же лице, относящиеся при этом приблизительно к одному и тому же времени» [2],— недоумевал в свое время комментатор пушкинского дневника профессор В. Ф. Саводник.

Но дело все в том, что никакого противоречия у Пушкина нет. Фраза о беспокойном и невежественном поповиче выражает, конечно, не мнение Пушкина, а записанное им мнение зубров-аристократов (вроде графа Растопчина, изображенного Толстым в «Войне и мире») и характеризует скорее этих аристократов, добившихся в конце концов падения и ссылки Сперанского.

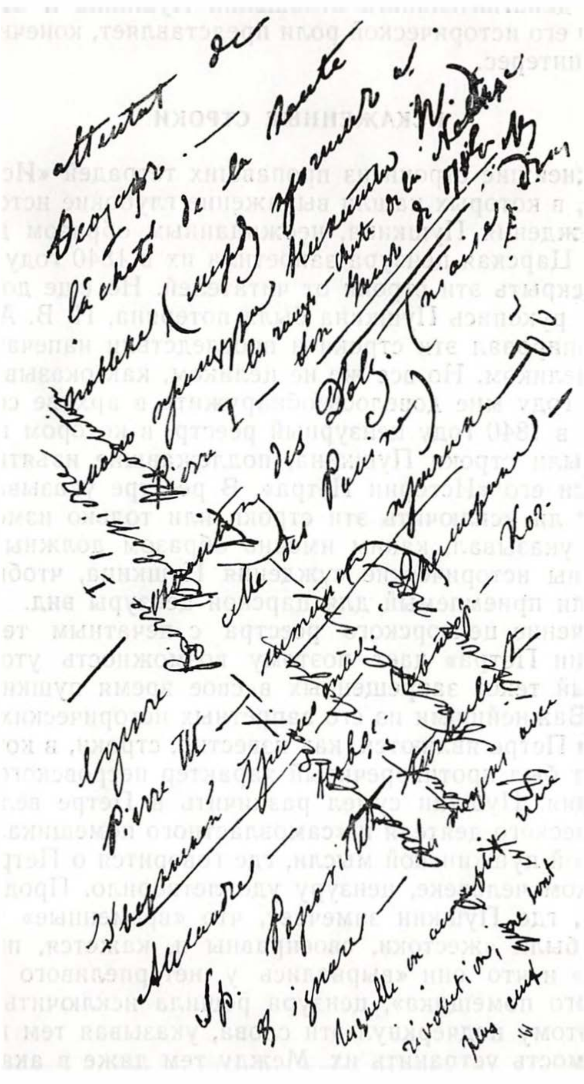
Я остановился на этом случае так подробно, рассматривая уцелевший пушкинский клочок, чтобы показать сложность раскрытия этого рода текстов, писанных Пушкиным начерно, иногда без знаков препинания, таких, скажем, как кавычки, которые могли бы прямо указать на то, что Пушкин записал посреди своего чернового текста чужое мнение — мнение, с которым он не согласен и с которым думает, может быть, спорить.

Поэт не успел перебелить, то есть развернуть и отделать, свою краткую запись, с тем чтобы превратить ее в текст, предназначенный для читателя. И мысль, кратко закрепленная Пушкиным, в связи с этим долго оставалась непонятой, недоступной нам даже после того, как

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII, стр. 205 и 485 (перевод).

[2] Дневник А. С. Пушкина (1833—1835 гг.). Труды Государственного Румянцевского музея, вып. I. М., 1923, стр. 247.



Уцелевший клочок рукописи Пушкина (на котором он написал по-французски: «Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон — воплощение революции»).

его уцелевший клочок был напечатан. Между тем раскрытие действительного отношения Пушкина к Сперанскому и его исторической роли представляет, конечно, немалый интерес.

ИСКАЖЕННЫЕ СТРОКИ

Важнейшие строки из пропавших тетрадей «Истории Петра», в которых нашли выражение глубокие исторические суждения Пушкина, неожиданным образом дошли до нас. Царская цензура запретила их в 1840 году в надежде скрыть эти строки от читателей. Но еще до того, как вся рукопись Пушкина была потеряна, П. В. Анненков скопировал эти строки и впоследствии напечатал — почти целиком. Но все же не целиком, как оказывается. В 1950 году мне довелось обнаружить в архиве составленный в 1840 году цензурный реестр, в котором приведены были строки Пушкина, подлежавшие изъятию из рукописи его «Истории Петра». В реестре указывалось, следует ли исключить эти строки или только изменить; цензор указывал, каким именно образом должны быть искажены исторические суждения Пушкина, чтобы они получили приемлемый для царской цензуры вид.

Сличение цензорского реестра с печатным текстом «Истории Петра» дает поэтому возможность уточнить печатный текст запрещенных в свое время пушкинских строк. Важнейшими из его запретных исторических суждений о Петре являются, как известно, строки, в которых раскрыт был противоречивый характер петровского царствования. Пушкин сумел различить в Петре великого исторического деятеля и «самовластного помещика». Начало этой пушкинской мысли, где говорится о Петре как о великом человеке, цензуру удовлетворило. Продолжение же, где Пушкин замечает, что «временные» указы Петра были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» и что они «вырвались у нетерпеливого самовластного помещика», цензура решила исключить, цензор поэтому подчеркнул эти слова, указывая тем на необходимость устранить их. Между тем даже в академических изданиях сочинений Пушкина в этом важнейшем тексте до сих пор печатаются курсивом слова, подчеркнутые не Пушкиным, а цензором — в знак того, что они подлежали исключению из «Истории Петра».

Женился онъ въ соборной церкви Св. Троицы на Катеринѣ, Марiенбургской дѣвкѣ, бывшей за мужемъ за шведскимъ трубачемъ, потомъ наложницей у Шереметьева и Меншикова.

подлежатъ сему замѣчанiю слѣдующiя: 1. изъ Марiенбурга. 2. въ замужествѣ.

Достойна удивленiя разница между государственными учрежденiями Петра В. и временными его указами. Первые суть плодъ ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые жестоки, своенравны и кажется писаны кнутомъ. Первые были для вѣчности или по кр. мѣрѣ для будущаго; вторые вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика.

Это внести въ исторiю Петра, обдумавъ.

подлежатъ замѣчанiю слѣдующiя выраженiя:

1. недобро жестоки.

2. вырвались въ минуты нетерпѣнiя.

Есть преданiе: въ день смерти Царевича, торжествующiй Меншиковъ звалъ Петра въ Ораниенбаумъ и тамъ возобновилъ пиръ ~~[illegible]~~ 1690 года.

исключено.

«Реестр Сербиновича». Слева запретные строки Пушкина, извлеченные из рукописи «Истории Петра I». Справа предлагаемые цензурой изменения. *Фрагменты.*

Пушкин сказал, что «временные» указы Петра были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Взамен этих обличительных слов цензор предложил написать, что эти указы были только «нередко» жестоки. И это предложенное цензором слово, смягчающее пушкинскую характеристику жестоких указов Петра, ошибочно печаталось как принадлежащее Пушкину [1].

Обнаружилось в том же цензурном реестре важное для понимания исторической концепции Пушкина и запрещенное цензурой неизвестное замечание его, из которого видно, что Пушкин делил царствование Петра I на два различных периода. Первый, в продолжение которого (по словам Пушкина, содержащимся в одной из его статей) Петр совершил «крутой и кровавый переворот». И второй период, характеризующийся, в отличие от первого, «малой примесью самовластья» и «тою вольною системою, коей ознаменовано последнее время царствования Петра» [2].

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПУШКИНА

От исторической тетради, посвященной Пушкиным 1719 году, сохранилось всего несколько строк: три заметки, изъятые царской цензурой до того еще, как вся рукопись его «Истории Петра» была потеряна. Одна из этих случайно уцелевших пушкинских заметок гласит: «1-го июля Петр занемог» («с похмелья»,— добавляет Пушкин в скобках и ставит вопросительный знак).

Между тем в источнике, которому здесь, казалось бы, следует Пушкин, то есть в хорошо известных нам «Деяниях Петра Великого», изданных в конце XVIII столетия И. И. Голиковым, нет никаких указаний на причину болезни царя. Там сказано только:

«Июля 1 пред самым отбытием флота монарх весьма занемог; но как корабли к ходу уже вынимали якори, и ветер был способной, то, дабы не упустить оного, повелел оному идти под командою шаутбенахта Сиверса... Но по отбытии флота, на другой день, когда сделалось

---

[1] Этот пушкинский текст восстановлен был в подготовленном мною к печати т. 8-м Собрания сочинений Пушкина, вышедшем в издательстве «Художественная литература» в 1962 г., стр. 323.

[2] Это замечание Пушкина было опубликовано в статье: И. Фейнберг. Неизвестные строки Пушкина. «Вестник Академии наук СССР», 1950, № 8.

ему немного полегче, не дожидаясь выздоровления... последовал за флотом»[1].

Почему Пушкин думал или догадывался, что Петр занемог «с похмелья»? Занемог Петр 1 июля, Пушкин же помнил, что за два дня до того празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Царь был именинником, и накануне именин (как прочел Пушкин несколькими страницами раньше у того же Голикова) Петр писал «государеву оку» Ягужинскому, которого звали Павлом: «Поздравляю вам завтрашними общими имянинами»[2].

Пушкин хорошо знал, как Петр праздновал свои именины. Праздновал так, что не только на другой день после них, но и на следующий еще бывал нездоров. Поэтому, конечно, Пушкин и подумал, что 1 июля Петр занемог с похмелья. Но, будучи историком осторожным, поставил тут все-таки знак вопроса. И, может быть, не зря, ибо, вскоре поправившись, Петр писал Ягужинскому, что «зело жестоко заболел, был жар и чаял той болезни долго быть», поясняя: «того для от флота корабельного отлучился, но слава богу долее трех дней не лежал»[3].

Вопросительный знак в конце заметки Пушкина, однако, отсутствовал в печатных изданиях его «Истории». Но сохранился в сводке замечаний, изъятых из нее больше века назад царской цензурой. И после того, как я разыскал в архиве эту сводку, пропавший вопросительный знак возвратился из безвестного отсутствия и встал на свое место, указывая на мимолетную догадку и сомнение Пушкина.

«ПРОИЗВЕЛ В ШАУТБЕНАХТЫ...»

В силу постигшей их катастрофической судьбы часть подлинных исторических тетрадей Пушкина, посвященных «Истории Петра I», так и не была найдена, и текст некоторых из этих пропавших тетрадей обнаружен был после революции лишь в виде копии, снятой после смерти поэта писцами. Сохранился даже счет, поданный опеке по делам Пушкина этими переписчиками. Но пушкинский текст понимали они недостаточно и не слишком тверды были в орфографии, особенно в пунктуации.

---

[1] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VI. М., 1788, стр. 371.

[2] Там же, стр. 368.

[3] Там же, стр. 372.

В этих тетрадях-копиях встречается поэтому немало ошибок, иногда грубых, то есть искажающих смысл; к сожалению, не все они были вовремя исправлены, и некоторые искажения можно встретить доныне даже в печатных изданиях «Истории Петра». Так, во всех изданиях мы под 1709 годом читаем, будто после Полтавской победы *«Апраксина с флагманами произвел Петр в шаутбенахты»* (т. е. в чин контр-адмирала). И затем: *«Петр благодарил его из Киева от 13 августа»* [1].

Между тем дело обстояло обратным образом: генерал-адмирал Апраксин с флагманами, то есть вместе с высшими морскими чинами, произвел тогда царя в шаутбенахты. Известно, что Петр проходил военную и военно-морскую службу как бы на общих основаниях, повышаясь всякий раз из чина в чин за заслуги и подвиги, им совершенные. И на этот раз полтавский победитель, как и отметил Пушкин, благодарил Апраксина за то, что тот произвел его в шаутбенахты. «И так благодарит он за повышение свое чином, яко морской офицер своего адмирала, а не яко монарх подданного» [2],— пишет Голиков, поясняя это письмо Петра. Стало быть, в текст «Истории Петра» надо внести поправку и печатать: *«Апраксин с флагманами произвел Петра в шаутбенахты»,* то есть печатать так, как и было, конечно, у Пушкина.

После Полтавской победы, в сентябре того же 1709 года, Петр отправился в Польшу, где ему готовилась торжественная встреча. Король Август выслал навстречу ему своего великого конюшего Фictума и графа Флеминга. Но о встрече ими Петра на Висле мы читаем в академическом издании «Истории Петра» нечто странное: «Конюший Фицтум и генерал-фельдмаршал Флеминг были при нем в гребцах и конвое. Вятский полк при князе Алексее Голицыне...» [3]

Петр мог посадить на весла и заставить грести своих сенаторов и министров, царь мог грести сам. Но что могло бы заставить взяться за весла, даже встречая царя-победителя, первых вельмож короля Августа? Обратив-

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. IX, 1949. АН СССР, стр. 223.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. III. М., 1788, стр. 131.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. IX, 1949. АН СССР, стр. 224.

шись к источнику, которым здесь пользуется Пушкин, то есть к тем же «Деяниям Петра Великого», можно убедиться, что текст Пушкина здесь, конечно, искажен из-за ошибки в пунктуации.

Читать это место «Истории Петра» надо, бесспорно, следующим образом: *«Конюший Фицтум и генерал-фельдмаршал Флеминг были при нем* (т. е. находились при Петре.— *И. Ф.*); *в гребцах и конвое — Вятский полк при князе Алексее Голицыне».*

Вот еще один любопытный случай искажения пушкинского текста. В конце 1718 года на Аландском конгрессе втайне был согласован проект мирного договора между Россией и Швецией. Северная война, которую Петр вел против Карла XII на протяжении уже почти двух десятилетий, должна была теперь кончиться. Барон Герц, министр и любимец шведского короля, повез этот мирный договор ему на ратификацию. Но Карл XII неожиданно был убит, сражаясь в Норвегии, под Фридерихсгалем. В Швеции восторжествовала партия противников мира с Россией, а Герц был объявлен изменником. В академическом издании «Истории Петра» мы читаем:

«Герц в Стокгольме был арестован; прежде нежели узнал о смерти короля, он был казнен, приказав написать на своем гробе: «Смерть короля, верность королю — смерть моя» (Пушкин приводит текст этой эпитафии в подлиннике, по-латыни, здесь даем ее в русском переводе) [1]. Но каким образом Герц, если он был казнен, так и не узнав о смерти короля, мог перед своей казнью сочинить себе эпитафию, начинавшуюся словами: «Смерть короля, верность королю» — и так далее? Дело в том, что и тут переписчики исказили пушкинский текст, неправильно расставив знаки препинания.

Герц действительно был *арестован* в Стокгольме прежде, чем он узнал о смерти короля. Судим же и казнен он был, зная уже о смерти Карла XII, и потому написал о ней в сочиненной им себе латинской эпитафии. Печатать этот пушкинский текст, разумеется, надо так:

«Герц в Стокгольме был арестован прежде, нежели узнал о смерти короля; он был казнен, приказав написать на своем гробе: Mors Regis, fides in Regem, mors mea» («Смерть короля, верность королю — смерть моя»).

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. 1949, АН СССР, т. IX, стр. 410—411.

* * *

Работа над текстом «Истории Петра», если мы хотим сделать его доступным читателям, конечно, не может быть сведена к устранению искажений. Большая часть подготовительного текста «Истории», как сказано, писана Пушкиным сжатым образом, для себя. Он часто не дописывает окончаний фраз, заменяя окончания пометкой «etc», то есть указывая: «И так далее». Такие места пушкинского текста необходимо раскрыть, ибо они остаются часто непонятыми. Приведу простой пример.

Под 1707 годом Пушкин говорит о надменном ответе Карла XII Петру, предложившему заключить мир. Пушкин пишет: «На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить Россию на малые княжества...»

«Известен,— пишет Пушкин,— отзыв Петра: «Брат мой Карл хочет быть Александром etc»[1]. Пушкин приводит здесь только начало ответа Петра шведскому королю, имея в виду, конечно, дописать историческую фразу Петра впоследствии — в беловом, окончательном, так и не написанном тексте своей «Истории». Этот ответ Петра в полном виде гласит: «Брат мой Карл хочет быть Александром (т. е. «Брат мой Карл хочет быть Александром Македонским»), но не найдет во мне Дария» (персидского царя, царство которого завоевал Александр). Надо ли говорить, что, издавая «Историю Петра», необходимо и в этом случае сообщить читателю полностью приводимую Пушкиным историческую фразу Петра.

Изучение подтвердило — теперь это признано,— что исторические источники петровского времени Пушкин знал глубоко. «Ученое сличение преданий, остроумное изыскание истины» он, по собственным словам его, высоко ценил в работе историка. И в высокой степени сам одарен был этой способностью.

1968

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР, т. IX, 1949, стр. 184.

В мастерской поэта

РАБОТА НАД «ОНЕГИНЫМ»

Окончив «Онегина», Пушкин написал элегию «Труд».

Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний...
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?..

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи...

В последних строфах «Онегина» Пушкин вспоминает свой *живой и постоянный труд* и прощается с ним, как с героями романа.

Когда впервые появились в печати подготовительные наброски и отрывки, остававшиеся в рукописях Пушкина, один из переживших его современников писал: «Как студии великих художников, они сделаются предметом изучения для будущих наших писателей»[1]. В Большом академическом издании перед читателем проходят варианты, сменявшиеся под пером поэта, извлеченные полностью из его черновиков. Черновики «Онегина» впервые прочитаны и напечатаны здесь до конца, строка за строкой[2].

Дело текстологов — критически, детально оценить громадный труд, выполненный редакторами этого издания. Исчерпывающий комментарий дополнит когда-нибудь академическое издание Пушкина.

Задача этих заметок — коснуться вопросов, которые возникают при первом чтении «Онегина», впервые напечатанного со всеми рукописными вариантами его.

Это чтение нарушает инерцию в восприятии романа.

---

[1] В. А. Соллогуб. Пушкин в его сочинениях. Сб. «Русские писатели XIX века о Пушкине». Л., «Художественная литература», 1938, стр. 146.

[2] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. VI. АН СССР, 1937, «Евгений Онегин». Редактор тома — Б. В. Томашевский.

ЛАРИНЫ

Прощаясь с «Онегиным», Пушкин писал:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристал
Еще не ясно различал...

«Магический кристал» — стеклянный шар для гаданья, в нем отражается будущее.

Мы знаем, что Татьяну сначала звали Наташей. После первой встречи с Татьяной — в черновиках — Онегин думал: не влюбился ли он в нее? Татьяна меняется на протяжении романа. Ленский и Ларины изменились до того, как они вошли в роман,— в черновиках «Онегина».

О Ларине, отце Татьяны, в романе сказано:

Он был *простой и добрый* барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

В черновиках он был другим:

Супруг — он звался Дмитрий Ларин
И винокур и хлебосол
Ну словом прямо русский барин...

И еще резче:

Супруг — он звался Дмитрий Ларин
Невежда, толстый хлебосол,
Был настоящий русский барин...

В черновиках он был:

...Довольно скуп
(Отменно) добр и очень глуп.

В «Онегине» о Лариных мы читаем:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины (и проч.)

Строфа эта была написана после окончания второй главы и включена в нее потом.

В черновиках же Ларины были изображены иначе:

Они привыкли вместе кушать,
Соседей вместе навещать
(По праздникам обедню) слушать
Всю ночь храпеть, а днем зевать...

В «Онегине» говорится об их гостях:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья...

В черновиках было иначе:

Под вечер у него сходилась
Соседей милая семья
(Дворян сбиралася семья)
Исправник, поп и попадья...

Это уже «уездное»!

О Лариной-матери теперь можно прочесть в черновиках:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Секала <————> [1], брила лбы,
Ходила в баню по субботам...

В первом издании этой главы «Онегина» Пушкин сказал о Лариной:

Она меж делом и досугом
Узнала тайну, как супругом,
Как Простакова, управлять.

Сначала Ларина была Простаковой.

В «Романе в письмах», который связан с пушкинским романом в стихах, герой Пушкина писал, «глядя на управление мелкопоместных дворян»: «Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина.— Между ими процветают Простаковы и Скотинины!»

Лариных — отца и мать — Пушкин сначала написал по-фонвизински. Потом героями Фонвизина в «Онегине» остались гости Лариных — семья Памфила Простакова (он стал потом Панфилом Харликовым) и Скотинины:

---

[1] В ломаных скобках обозначен пропуск слова, неудобного в печати.

...чета седая
С детьми всех возрастов...

Они приезжают на именины в пятой главе «Онегина».

В первой главе «Онегина» Пушкин вспоминал Фонвизина, говоря о театре:

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы...

Прочитав *«Разговор у княгини Халдиной,*— писал Пушкин в 1830 году,— пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы».

Пушкин не стал решать в «Онегине» задачу, которую решал Фонвизин.

Вспоминая о сатире нравов, в черновиках седьмой главы «Онегина» Пушкин назвал поэта, который стал продолжателем Фонвизина:

Как (живо) колкий Грибоедов
В сатире внуков описал
Как описал Фонвизин дедов...

В пятой, седьмой, восьмой главах «Онегина» Пушкин обращается к сатире только в обрисовке среды, с которой сталкиваются главные герои романа («Сколько при них портретов, то отделанных заботливо, то слегка набросанных, сколько каррикатур!» — писал современник «Онегина») [1].

Героями Фонвизина в «Онегине» остались фигуры, показанные не крупным, а общим планом.

СПОР ОБ «ОНЕГИНЕ»

Первая глава романа была напечатана в 1825 году. «Онегин» начат в 1823 году. В эти годы Пушкин писал:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне ювеналов бич!

В черновом предисловии к первой главе «Онегина» Пушкин от имени издателя называл автора «Онегина»

[1] «Сын Отечества», 1828, часть 116, № 7.

сатирическим писателем, первую главу «Онегина» назвал сатирическим описанием жизни молодого русского дворянина, вспоминал сатиру нравов Ювенала, Петрония, Вольтера и Байрона и по-щедрински сказал об отеческой бдительности цензуры, блюстительницы нравов и государственного спокойствия.

В том же 1825 году, 24 марта, он писал Бестужеву:

— «Где у меня *сатира?* о ней и помину нет в *«Евгении Онегине»*... Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен...

1-я песнь просто быстрое введение...» [1]

Замысел романа изменился.

«Другие песни» — вторая, третья и четвертая главы «Онегина» — были уже написаны, Бестужев их еще не читал.

В последней строфе «Онегина» Пушкин говорит:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован...

Пушкин вспоминал споры с друзьями о первой главе романа. Он вспоминал Рылеева и Бестужева.

12 февраля 1825 года Рылеев писал Пушкину об «Онегине»: «Ты схватил все, что только подобный предмет представляет. Но Онегин, сужу по первой песне, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника» [2].

«Я готов спорить об этом до второго пришествия»,— повторял Рылеев через месяц [3].

Бестужев писал Пушкину 9 марта 1825 года:

«Поговорим об Онегине...

Для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?.. Чем выше предмет, тем более надобно силы, чтобы объять его...» [4]

Друзьям казалось:

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII, стр. 155.

[2] Там же, стр. 141.

[3] Там же, стр. 150.

[4] Там же, стр. 148, 149.

Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет...

«Что свет можно описывать в поэтических формах,— писал Пушкину Бестужев,— это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?»

Бестужев требовал, чтобы «Онегин» был «Горем от ума».

«Прочти Байрона,— писал Пушкину Бестужев,—...я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры... И как зла, и как свежа его сатира!»

Бестужеву хотелось, чтоб Онегин казался сатирическим портретом.

Грибоедов писал Катенину в январе 1821 года о героях «Горя от ума»: *«Характеры портретны!* Да... портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии...» [1]

Онегин новый тип героя, он не портретен, а типичен.

«Не думай, однако ж,— писал Пушкину Бестужев,— что мне не нравится твой *Онегин,* напротив. Вся его мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу «Онегина», а только тебя».

Бестужеву понравились в «Онегине» лирические отступления. Вспоминая строфы «Дон Жуана», говорящие о приключениях Жуана в Петербурге, он ставил Пушкину в пример политическую сатиру Байрона [2]. Поэтом, у которого элегии чередуются с политической сатирой, был, как мы увидим, в одном из вариантов «Онегина» Ленский.

Пушкин отвечал Бестужеву: «Твое письмо очень умно, но все таки ты не прав, все таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все таки он лучшее произведение мое».

Далее Пушкин писал: «Сим заключаю полемику нашу...» [3]

«Онегин» был явлением нового искусства. Бестужев

---

[1] Грибоедов. Полное собрание сочинений под ред. Н. К. Пиксанова, т. III. Изд. Академии наук, 1917, стр. 168.

[2] «Мечтательные» строфы вперебивку с политической сатирой были привычными для читателей «Чайльд Гарольда».

[3] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII, стр. 155.

смотрел на него «не с той точки». Полемика с Бестужевым стала Пушкину не нужной: новое искусство требовало новой точки зрения.

ОБ ИЛИАДЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Вспомним, что думали о новом искусстве современники Пушкина.

Кюхельбекер 17 декабря 1831 года писал в дневнике:

«Давно у меня в голове бродит вопрос, «возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков». «Беппо» и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина — попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир, как судьи, как сатирики, как поэты описатели... Ювеналовские выходки Байрона и Пушкина... заставляют меня презирать и ненавидеть мир, ими изображаемый, и удивляться только тому, как они решались воспевать то, что им казалось столь низким, столь ничтожным и грязным. Гомер нашего времени,— если он только возможен,— должен идти иною дорогою» [1].

В «Доне Жуане» и в «Онегине» Кюхельбекер видел слабые попытки создать «Илиаду» современности.

В «Доне Жуане» Байрон писал:

«О ты, бессмертный Гомер. Ты, чарующий всякий слух — даже длинноухий, все века, хотя бы и краткие...

...Я должен признать, что мне соперничать с тобой было бы так же тщетно, как ручейку бороться с волнами океана...» (песнь VII, строфы XXIX—XXX).

В «Разговорах Байрона» можно прочесть другое (французское издание этой книги вышло в 1824 году, о присылке его Пушкин просил в письмах из Михайловского в этом же и следующем году).

«Если ж непременно нужна эпическая поэма,— сказал Байрон,— то вот вам *Дон-Жуан.* Вот что я называю

[1] В. Кюхельбекер. Дневник. Л., изд. «Прибой», 1929, стр. 25—26.



Байрон.
Рисунок Пушкина.

эпопеею: это эпическая поэма в духе нашего века, как Илиада была в духе времени Гомерова» [1].

В письме к Бестужеву Пушкин в шутку сравнивал Татьяну с Юлией из «Дон Жуана». В «Онегине» он сравнил Татьяну с Еленой Прекрасной.

Пушкин обращается к Гомеру в пятой главе «Онегина»:

И кстате я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

Сначала обращение к Гомеру не ограничивалось этими стихами. За ними шли еще две строфы. Они были напечатаны в первом издании пятой главы «Онегина». Потом Пушкин исключил их.

Вот они — с некоторыми черновыми вариантами. Пушкин сравнивал героев «Онегина» с героями «Илиады»:

В пирах готов я непослушно
С твоим бороться божеством;
Но признаюсь великодушно,
Ты победил меня в другом:
Твои свирепые Герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда, твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей
(Пред резвой Ольгою моей)
(Пред няней даже...)
(Пред бригадиршею моей)
Пред нашим воспитаньем модным;

[1] В библиотеке Пушкина сохранилось английское издание книги «Разговоры Байрона». Приводимая цитата дана по русскому переводу, который вышел под названием «Записки о лорде Байроне», ч. II. СПБ, тип. Греча, 1835, стр. 14.

Но Таня (присягну) милей
Элены пакостной твоей...

Эту и следующую за ней строфу, где продолжалось сравнение «Онегина» с «Илиадой», Пушкин потом исключил из своего романа. Следом сравнения с героями «Илиады» осталось в нем двустишие:

Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков...

Пушкинское сравнение героев «Онегина» с героями «Илиады» кажется мне полемическим.


Гёте.
Рисунок Пушкина

В статье «О направлении нашей поэзии», с которой Пушкин полемизировал в «Онегине», Кюхельбекер сравнил с Ахиллесом героев Байрона и Пушкина. Он писал о них: «Безымянные, отжившие для всего брюзги, которые,— даже у самого Байрона (Child Garold), надеюсь, далеко не стóят... Ахилла Гомерова... которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и в элегиях Пушкина» [1].

В «Романтической школе» Гейне, защищая современное искусство, сказал, что понимать поэзию прошлого легче,— и надо быть великим поэтом для того, чтоб понять и выразить поэзию своего времени. Он иронизирует над Августом Шлегелем, который всегда старался мерять современность меркой прошлого и даже для того, чтобы унизить Еврипида, сравнивал его с более древними Эсхилом и Софоклом [2].

---

[1] «Мнемозина», 1824, ч. II. Напомню, что об этой статье Кюхельбекера Пушкин писал в предисловии к первой главе «Онегина» и в стихах четвертой главы романа: «Но тише! слышишь? Критик строгий». (См. Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 202, 219, 220.)

[2] См. Гейне. «Романтическая школа», книга II. Полное собрание сочинений в 12 томах, т. VII. М.—Л., 1936, изд. «Academia», стр. 213—216.

Иронически сравнивая героев «Онегина» с героями «Илиады», Пушкин вспомнил статью Кюхельбекера, который сравнивал героев Байрона и Пушкина с Ахиллесом всерьез.

Об «Илиаде» и о поэзии современности Пушкин писал в 1827 году, критикуя драматургию Байрона, который «постиг, создал и описал только единый характер (именно свой)»[1].

Признавая оригинальность Байрона в «Дон Жуане», Пушкин противопоставляет Байрону творчество Гёте. Пушкин писал: «Фауст есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно так Илиада служит памятником классической древности»[2].

«РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ»

«Относительно Пушкина,— писал в своей книге «Гёте в русской литературе» В. Жирмунский,— можно сказать, что ни одна черта в его поэтическом облике не была подсказана влиянием немецкого поэта»[3]. Взгляд этот, мне кажется, нужно пересмотреть.

Печатая первую главу «Онегина», Пушкин предпослал ей «Разговор книгопродавца с поэтом». Этот пролог к «Онегину» напоминал читателю «Пролог в театре» к «Фаусту». Александр Бестужев сразу заметил это и указал на это в «Полярной звезде»[4].

В том же 1824 году, когда Пушкин написал «Разговор книгопродавца с поэтом», Грибоедов переводил из «Фауста» «Пролог в театре». В. Жирмунский пишет, что в своем переводе Грибоедов «ряд мест «Пролога» развил и видоизменил по-своему... Гёте становится похожим на Грибоедова, политического оппозиционера, ...пишущего сатиру на светское общество».

Пушкин воспринял «Пролог» Гёте к «Фаусту» иначе.

О «Прологе в театре», с которым связан пушкинский

---

[1] А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 9 томах, т. IX. «Academia», 1937, стр. 62.

[2] Там же.

[3] В. Жирмунский. Гёте в русской литературе. Л., Гослитиздат, 1937, стр. 149.

[4] «Полярная звезда», 1825, стр. 14.

«Разговор книгопродавца с поэтом», в комментарии к «Фаусту» мы читаем: «Гёте здесь, как и во всех своих драматических и эпических произведениях, объективирует свой внутренний конфликт в диалектическом противоположении характеров, в данном случае поэта, с одной стороны, шута и директора — с другой. Разрешением антитезы является само драматическое произведение, как образец новой драматической поэзии» [1].

По этому пути пойдет создание ряда произведений Пушкина. Герои-антиподы «Каменного гостя» — Дон Гуан и Командор (Дон Карлос — alter ego Командора). Пушкин не Дон Гуан и не Дон Карлос. Но в столкновении этих героев объективирован конфликт двух начал, двух тенденций, сталкивающихся и борющихся в душе поэта, поляризованных и воплощенных им в образах — и в драматическом столкновении — героев «Каменного гостя».

Чарский и Импровизатор — герои-антиподы «Египетских ночей», Пушкин не Чарский (Чарский — поэт-денди), но, создавая его образ, Пушкин придал ему, мы знаем, автобиографические черты. Пушкин не Импровизатор, о котором можно сказать: «Холодная толпа взирает на поэта, как на заезжего фигляра», но это слова из стихотворения, в котором Пушкин говорит о самом себе. В столкновении Чарского и Импровизатора также объективирован внутренний конфликт поэта.

Тема пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» — столкновение поэзии и прозы жизни.

Книгопродавец и Поэт, оба высказывают мысли Пушкина — те мысли, которые сталкивались в сознании Пушкина. Пушкин объективирует здесь свой внутренний конфликт, не совпадая ни с одним из героев-антагонистов «Разговора». Художественное решение дано в диалоге Пушкина также диалектически — противопоставлением их. Это и сближает «Разговор» Пушкина с Гёте.

«Разговор книгопродавца с поэтом» — первый опыт Пушкина в этом роде. Поэт все время остается поэтом. Его антагонист — «книгопродавец» — не везде выдерживает роль.

---

[1] Гёте. «Фауст». Перевод В. Брюсова, редакция и комментарии А. Луначарского и А. Габричевского. М.— Л., Государственное издательство, 1928, стр. 304.



Князь Шаликов — издатель «Дамского журнала». *Рисунок Пушкина («Пускай их Шаликов поет...» См. «Разговор книгопродавца с поэтом», первоначальный вариант).*

«Разговор» начинает книгопродавец:

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть.
Поэма, говорят, готова,
Плод новых умственных затей...

Далее этот же книгопродавец говорит о поэте:

Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит;
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона,
В младые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

В стихах, которыми начат «Разговор», книгопродавец недалек от гостинодворца. В других — только что приведенных мною — стихах он ближе к поэту[1]. «Разговор книгопродавца с поэтом» еще носит следы первого опыта.

Отходя от Байрона, Пушкин противопоставлял ему не только Шекспира. Он шел путем, который заставляет вспомнить Гёте, говоря о том времени, когда Пушкин переходил к созданию «Онегина».

Пушкин в своем творческом развитии не обошел Гёте, хотя не стал его подражателем.

АВТОР И ГЕРОИ «ОНЕГИНА»

«Онегин» подымал вопрос о новом типе героев и об их отношениях с автором.

«Московский вестник» в 1828 году писал:

[1] Не к Пушкину, а, скажем, к Шаликову,— о котором говорится в одном из вариантов «Разговора»,— заговорившему пушкинскими стихами.



Пушкин и Онегин на берегу Невы.
Рисунок Пушкина.

«Мы подслушивали разные суждения...

— Создать такой характер, как у Онегина, невозможно,— сказал один,— чтобы описать его, надобно самому быть им.

— Согласен с вами,— отвечал другой,— может быть — автор — Онегин, но только не в святые минуты вдохновения, по будням, а не в праздник.



М. Н. Раевская.
Рисунок Пушкина.

Когда не требует поэта
К священной жертве Аполлон.

— В таком случае,— сказал третий,— гораздо лучше верить самому автору. Вот что говорит он об этом:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом...» [1]

В предисловии к четвертой песне «Чайльд Гарольда» Байрон писал об авторе и о страннике — герое поэмы:

«Дело в том, что мне надоело проводить между ними черту, которую все решились не видеть... Напрасно я уверял и воображал, что вывел различие между автором и странником. Самая забота о сохранении этого различия и досада на бесполезность всех уверений уничтожали все мои усилия, так что я решился совершенно от этого отказаться. Я так и сделал».

«...Лицо, являющееся во всех его созданиях,— сказал о Байроне Пушкин,— наконец принял он сам на себя в Чильд Гарольде» [2].

Пушкин — герой «Онегина». Он нарисовал себя рядом с Онегиным на набережной Невы [3]. Рисунок был на-

---

[1] «Московский вестник», 1828, ч. VII, № 4.

[2] А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 9 томах, т. IX. М., изд. «Academia», 1937, стр. 62.

[3] Посылая этот набросок, Пушкин писал: «брат, вот тебе картинка для Онегина — найди искусный и быстрый карандаш». Рисунок был выполнен Нотбеком и гравирован Гейтманом.

печатан в «Невском альманахе». Это тоже был способ отделить себя от героя, оставаясь близким к нему:

Онегин, добрый мой приятель...



Графиня Е. К. Воронцова.
Рисунок Пушкина.

Я говорил о том, что, критикуя «Онегина», Бестужев требовал, чтобы герой романа казался сатирическим портретом. О героях Фонвизина Шаховской сказал: «Действующие лица, выведенные им, имеют одно свойство с Вандиковыми портретами: мы не знаем, с кого они были списаны, а уверены, что они похожи» [1].

Герои «Онегина» портретными не казались. Онегина как тип героя определил Киреевский. В 1828 году он писал: Пушкин не дал Онегину «определенной физиономии, и не одного человека, но целый класс людей представил в его портрете: тысяче различных характеров может принадлежать описание Онегина».

То одна, то другая из современниц Пушкина думала, что она оригинал Татьяны. Претендентки помнили последнюю строфу «Онегина». В ней сказано:

...А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...

Вариант этих стихов говорил точнее:

А *те, с которых* образован
Татьяны милый идеал...

---

[1] Кюхельбекер вспоминал эти слова Шаховского о Фонвизине в своем дневнике (стр. 138).

Мир «Онегина» — мир объективных, типичных героев. В то же время не похожие друг на друга герои похожи на поэта. (Это связано с тем, что «Онегин» — во многом роман лирический.)

Ряд стихов, написанных от лица автора, Пушкин относил при переработке к Онегину.

Герцену казалось, что «Пушкин изобразил... Ленского с нежностью, какую человек питает к мечтам своей юности». Кюхельбекер сказал даже, что «поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну» [1].

В черновиках Пушкин рисовал свои воображаемые автопортреты. Эти рисунки — воображаемые варианты его будущей судьбы. Герои «Онегина» казались читателю воображаемыми вариантами личности самого поэта. Варнгаген фон Энзе говорил, что Пушкин двоится в романе на Ленского и Онегина [2]. Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского — Онегина vice verso (то есть «Онегина наоборот»),— сказал Герцен.

О РОССИИ «ОНЕГИНА»

Не думаю, что всему сказанному о героях «Онегина» противоречат слова Пушкина: «Вечером слушаю сказки моей няни, *оригинала* няни Татьяны...» [3]

Крепостная няня — человек другого мира, и образ ее создан иначе.

Писарев удивлялся, как мог Белинский назвать пушкинский роман «энциклопедией русской жизни». Какая же это энциклопедия, говорил он, если из нее выпало крепостное право.

Пушкин писал в «Онегине» о волжских бурлаках:

Надулась Волга — бурлаки,
Опершись на багры стальные,
Унывным голосом поют
Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин в старину
Кровавил Волжскую волну...

---

[1] Дневник, запись от 17 февраля 1832 г., стр. 42.
[2] «Сын отечества», 1839, т. VII, отдел IV, стр. 16.
[3] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII. Изд. Академии наук, стр. 129.

В рукописи четвертой главы Пушкин сказал:

В глуши что делать в это время
Гулять! — Но голы все места
Как лысое Сатурна темя
Иль крепостная нищета.

О сцене с няней Белинский заметил: это — целая драма.

Крепостное право из романа не выпало: «Онегин» не роман о крепостном праве, это роман о людях того общества, жизнь которого была определена крепостным строем.

Когда крепостное право было отменено, Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Цепь сковывала барина с мужиком.

Татьяна выходит замуж, повторив судьбу своей матери и няни: это тождество противоположных судеб.

В Онегине Герцен видел последствие разрыва между Россией образованной и народной, Ленского он назвал «другой жертвой русской жизни».

В одном из вариантов «Онегина» Пушкин сказал:

Пою печального героя.

Пушкин знал, кому на Руси жить хорошо. В черновых строфах «Онегина» он писал:

Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой —
Кто цель имел и к ней стремился
Кто знал, зачем он в свет явился
И богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.

Когда Гоголь прочитал Пушкину первые главы «Мертвых душ», Пушкин сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Эти слова мог бы повторить читатель «Онегина».

Россия «Онегина» грустна иначе, чем Россия «Мерт-

вых душ». «Он сатирический портрет?» — гадает Татьяна об Онегине в черновиках седьмой главы. «Сатирическим портретом» был Онегин первой главы романа. Потом Пушкин перестал смотреть на него сквозь лупу сатиры. Критицизм Пушкина по отношению к Онегину стал выражаться не в сатирическом изображении, а в раскрытии его судьбы.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин приводит известные слова Лабрюйера о судьбе французского крестьянина; сравнивая описания Лабрюйера и мадам де Севинье, он говорит: «Слова госпожи Севинье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а просто рассказывает, что видит и к чему привыкла».

Перерабатывая вторую главу «Онегина», Пушкин изобразил жизнь Лариных без сатирического преувеличения — и потому еще более грустно.

В рукописях Пушкина есть рисунки, которые кажутся иллюстрациями к Гоголю. Взгляните на профили в черновиках стихов, вошедших в «Странствие» Онегина.

Пушкин видел Россию Гоголя. Но гоголевские хари оставались рисунками на полях его черновиков; в стихах «Онегина» они только обозначили среду, окружающую героев романа.

О своем искусстве Гоголь сказал эпиграфом к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Зеркала Гоголя — это увеличительные зеркала сатиры.

В поэзии Пушкина, писал Гоголь, Россия отразилась «в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!

Об этой музе в «Онегине» Пушкин не говорит. Он вспомнил в шутку другую музу почти в конце романа. Вступление к «Онегину» превратилось в пародию:

Да, кстати здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд
О ты, эпическая муза!

В черновиках этой строфы Пушкин написал:

О муза Пульчи и Парини...

О Пульчи Байрон вспоминал в «Дон Жуане»:

«...Пульчи был мастером... полусерьезных стихов...» (песнь IV, строфа VI).

Байрон переводил Пульчи. 12 сентября 1821 года он спрашивал Джона Меррея: «Почему вы не печатаете моего Пульчи (лучшее из всего, что я написал,— и итальянский текст к нему)» [1]. Речь идет о поэме «Morgante», смещавшей эпический стиль.

«Этот Луиджи Пульчи... написал свою поэму в середине XV века... Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное» — говорит Вольтер в предисловии к «Орлеанской девственнице».

Вспоминая Пульчи, у которого учился Вольтер, которого переводил Байрон, Пушкин вспоминал генеалогию повествовательной манеры, сказавшейся в «Онегине».

Теперь о Парини.

Парини (1729—1799) был известен Пушкину как автор знаменитой сатиры «День». О возможном влиянии поэмы Парини на первую главу «Онегина» говорил Фриче[2]. Отзвуки ее в первой главе «Онегина» отмечал Мокульский [3].

В поэме Парини сатирически описан день молодого миланского дворянина. Собираясь издать первую главу «Онегина», сам Пушкин в черновом предисловии назвал ее сатирическим описанием жизни молодого русского дворянина.

Отвечая на критику первой главы «Онегина», Пушкин писал Бестужеву: «Дождись других песен». Теперь, в конце седьмой главы романа, Пушкин иронически писал:

Пою приятеля младого
И множество его причуд...

В черновиках этой строфы Пушкин шутя вспомнил о Парини. Может быть, он вспоминал критиков первой главы романа, которым казалось, что «Онегин» будет чем-то вроде сатирической поэмы, какую написал Парини.

---

[1] «Интернациональная литература», 1940, № 1, стр. 104.
[2] Энциклопедический словарь Гранат, статья «Парини».
[3] «Литературная энциклопедия», статья «Парини».

Муза Парини не была музой «Онегина». Отбросив воспоминания о ней, Пушкин пародировал вступление к эпической поэме:

Благослови мой долгий труд
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Здесь Пушкин смеялся над тем классицизмом, вспоминая о котором Байрон сказал, что Гомер чарует всякий слух, даже длинноухий.

Для Кюхельбекера, когда он, говоря об «Онегине», противопоставлял «Гомера нашего времени, если он только возможен», поэту, который критически смотрит на современный европейский мир, речь шла не о том, что Пушкин должен подражать роду (т. е. жанру) классической эпопеи.

Это Воейков, когда еще не переменил мнения, писал:

Херасков наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани.

Кюхельбекер же записал в дневнике мнение Пушкина об описании осады и взятия Казани у Карамзина: в этой прозе гораздо больше поэзии, чем в эпической поэме Хераскова [1].

От эпопеи предостерегал Пушкина Бестужев. В том же письме, где он критиковал первую главу «Онегина», он говорит: «Только избави боже от эпопеи: это богатый памятник словесности, но надгробный. *Мы не греки и не римляне,* и для нас *другие сказки надобны*» [2].

Но в «Онегине» поэзию Бестужев видел только там, «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества» [3].

Ответом Кюхельбекеру и Бестужеву звучат слова Белинского о Пушкине:

---

[1] См. «Дневник», стр. 128—129.

[2] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII, стр. 149.

[3] Б. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., Изд. АН СССР, 1937, стр. 116, 117.

«Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма.

Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений... со всею ее прозою...

И такая смелость... была несомненным свидетельством гениальности поэта».

Поэзия и проза жизни — два плана «Онегина»; взаимодействие их определяет пафос романа.

ОНЕГИН

Теперь рассмотрим отдельные варианты «Онегина».

В черновиках первой главы романа об Онегине говорилось насмешливей:

Онегин был по мненью многих
Судей решительных и строгих
Ученый малый, но педант.
В нем *дамы* видели талант.

Говоря об Онегине во второй главе, Пушкин колебался. В одном из вариантов сказано: Евгений

Не посвящал друзей в шпионы,
Но думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

В другом, противоположном варианте он:

Не думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

В черновиках второй главы «Онегина» Пушкин иронически писал:

(Свободы сеятель пустынный)
Ярмо он барщины старинной
Оброком легким заменил,
(Народ его благословил)...

Стихом «Свободы сеятель пустынный» Пушкин почти тогда же начал всем известное стихотворение, в котором о сеятеле и о народе говорится совсем иначе.

Мы знаем, что в черновиках после первой встречи с Татьяной Онегин думал, не влюбился ли он в нее. Вот эти стихи[1]:

В постеле лежа, наш Евгений
Глазами Байрона читал
И дань невольных размышлений
Татьяне милой посвящал.
Самой зари проснулся ране
И что ж, уж думал о Татьяне

Вот новое, подумал он —
Неужто я в нее влюблен...

Этот вариант Пушкин отбросил.

Теперь только, когда Онегин получает письмо Татьяны, Пушкин говорит:

Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел...

Об отброшенном варианте напоминают в конце романа черновые строки письма Онегина к Татьяне:

Случайно вас когда-то встретя,
...*(Я смутный жар в себе заметя)*...
...(Я с вами сблизиться не смел)...

Эти варианты остались в черновике. Теперь в письме к Татьяне Онегин говорит:

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел...

В вариантах второй главы «Онегина» было сказано:

Какие страсти не кипели
В его измученной груди
Давно ль на долго ль присмирели
Они проснутся — подожди...

В черновиках «Странствия» Онегина есть сентенция:

Хвала тебе, седой Кавказ,
Онегин тронут в первый раз.

---

[1] Строфа, об этом говорящая, была впервые напечатана П. О. Морозовым в вышедшем под его редакцией десятитомном собрании сочинений Пушкина, т. IV. СПБ, «Просвещение», стр. 317.

Страсти, предсказанные в начале романа в черновиках, проснутся. Возвратившись, Онегин встречает Татьяну.

Пушкин расстается с героем «вдруг», и роман обрывается.

Десять лет спустя Белинский писал:

«Весь этот роман — поэма не сбывающихся надежд, не достигающих стремлений,— и будь в ней то, что люди, непонимающие дела, называют планом, полнотой и оконченностию,— она не была бы великим созданием великого поэта и Русь не заучила бы ее наизусть».

* * *

Лет через двадцать после того, как «Онегин» был окончен, Толстой писал в дневнике: «теперь уже проза Пушкина стара... Теперь справедливо в новом направлении интересом «подробностей чувства» заменен «интерес самых событий»[1].

Интерес «Онегина» — во многом — интерес «подробностей чувства». В ненапечатанном предисловии к последним напечатанным главам «Онегина» Пушкин писал: «Те, которые стали бы искать в них занимательности происшествий, могут быть уверены, что в них еще менее действия, чем во всех предшествовавших».

Искусство, интерес которого в «подробностях чувства», не изобретено после Пушкина. Оно было у Руссо, с которым Толстой связан больше, чем Пушкин. Оно есть у Пушкина («Евгений Онегин» связан с «Новой Элоизой» не только письмами Онегина и Татьяны).

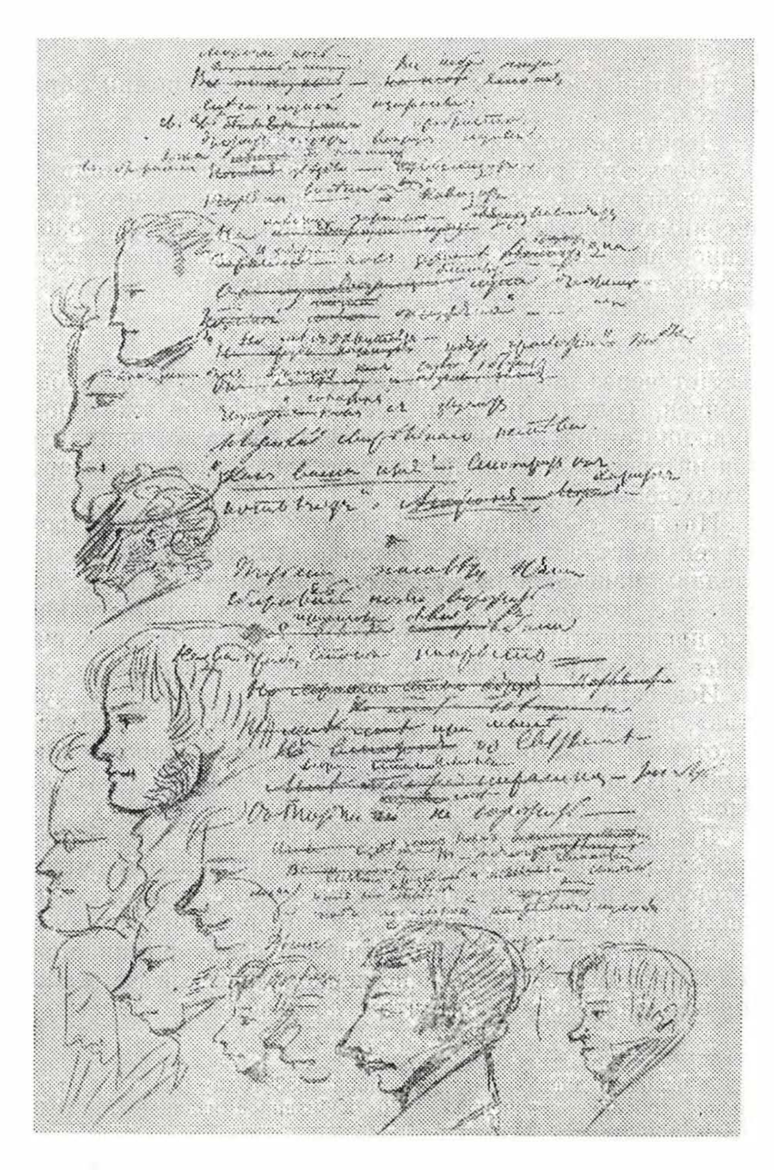
Двадцатипятилетний Толстой думал об изменениях, происходивших в русской прозе, но не говорил в записи, которую я привел, о пушкинском романе в стихах, во многом определившем путь развития русского романа[2].

Еще в большей мере будущий русский роман определило взаимодействие лично-психологической темы с исторической темой. О том, что в десятой главе «Онегина»

---

[1] Запись в дневнике от 11 ноября 1853 года (Л. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 46. Юбилейное издание. М., 1937, стр. 187—188).

[2] Позднее, говоря об «Онегине», Толстой чрезвычайно высоко оценивал его в отношении разработки психологии действующих лиц, указывает М. Н. Гусев в работе «Толстой о Пушкине».



Профили декабристов в рукописи «Евгения Онегина»: Пущин, Кюхельбекер, Рылеев *(январь 1826 г.)*.

в роман включалась историческая тема, будущий автор «Войны и мира», несколько раз принимавшийся за роман о декабристах, знать не мог.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ «ОНЕГИНА»

Теперь мы знаем, что в 1829 году на Кавказе Пушкин рассказывал план будущих (ненаписанных) глав романа. Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов.

8 февраля 1824 года Пушкин писал Бестужеву об «Онегине»: «Об моей поэме нечего и думать — если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге. Прощай, поклон Рылееву...» [1]

Если бы замысел «Онегина» не переменился, он, быть может, был бы в первый раз напечатан в Лондоне вместе с другими запрещенными стихами Пушкина и Рылеева в книге «Русская потаенная литература» (как впервые полностью было напечатано Герценом в лондонской «Полярной звезде» цитированное письмо Пушкина к Бестужеву).

28 ноября 1830 года Пушкин писал: «Вот еще две главы «Евгения Онегина»,— последние, *по крайней мере для печати...»*

Последними эти главы «Онегина» были только для печати.

«Онегин» был задуман так, что о печати нечего было и думать. Пушкин мог бы повторить эти слова, говоря о дошедших до нас не полностью, действительно последних главах романа [2].

24 апреля 1853 года Катенин писал Анненкову: «Об восьмой главе *Онегина* слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани, Евгений видел *военные поселения,* заведенные гр. *Аракчеевым,* и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII, стр. 88.

[2] Так написана была уничтоженная первоначальная восьмая глава «Онегина», из которой Пушкин напечатал только строфы, образовавшие «Странствие» Онегина, и зашифрованная Пушкиным, может быть, написанная только частично десятая глава «Онегина».

рассудил за благо предать их вечному забвению, и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую, и как бы оскудевшую»[1].

В 1825 году Пушкин писал Бестужеву: «У меня бы затрещала набережная, если бы коснулся я сатиры...»

Дворцовая набережная затрещала, когда Пушкин коснулся сатиры в десятой главе «Онегина»:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

В этой главе речь шла о декабристах.

Белинский не знал об этом, когда писал:

«Евгений Онегин есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица».

В десятой главе «Онегина» появились лица исторические.

ЛЕНСКИЙ

Ленского Пушкин назвал сначала Холмским.

В черновиках он был другим. Мы знали, что Ленский,

Поклонник Канта и поэт,

в одном из вариантов был:

Крикун, мятежник и поэт[2].

Прочитанные теперь черновики открывают новые варианты:

В романе о Ленском говорится:

Он пел любовь, любви послушный (и проч.)

В черновиках же о поэзии Ленского сказано:

Но чаще гневною сатирой
Одушевлялся стих его...

Представление о поэзии Ленского меняется: в черновом наброске он был поэтом, который чаще пишет гневные, сатирические стихи. Сатира Ленского была политической сатирой.

---

[1] Это письмо Катенина опубликовано П. А. Поповым в его работе «Новые факты жизни и творчества А. С. Пушкина», напечатанной в «Литературном критике», 1940, № 7—8.

[2] Значение этого варианта выяснено Ю. Н. Тыняновым в статье «Пушкин и Кюхельбекер» («Литературное наследство», № 16—18).

Теперь в романе о Ленском сказано:

Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства...

Мы знаем, что Пушкин противопоставлял Ленского поэтам другого рода [1]. Он писал о них:

Певцы слепого упоения
Напрасно дней своих блажных
Передаете впечатленья
Вы нам в элегиях живых (и проч.)

В черновом наброске мы можем прочитать стихи, продолжающие это лирическое отступление:

Но добрый юноша готовый
Высокий подвиг совершить
Не будет в гордости суровой
(Ваш вдохновенный стих твердить)
Стихи нечистые твердить.
Но праведник изнеможенный
К цепям неправдой присужденный
(В своей)... в тюрьме
С лампадой, дремлющей во тьме
Не склонит в тишине пустынной
На свиток ваш очей своих
И на стене ваш вольный стих
Не начертит рукой безвинной
Немой и горестный привет
Для узника (грядущих) лет.

Этот набросок, мне кажется, связан с посланием «первого декабриста» Владимира Раевского, написанным в крепости, в 1822 году. Вот стихи, обращенные в этом послании к Пушкину:

Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где льется кровь,
Где власть с насмешкой и улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой.

Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху,

[1] Смысл этого противопоставления также выяснен в работах Ю. Н. Тынянова (см. его исследования: «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Кюхельбекер»).

И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать!
Пора, мой друг, пора воззвать... (и проч.)

В 1822 году Пушкин начал ответное послание В. Ф. Раевскому:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы...

Послание Пушкина осталось ненаписанным. Послание Раевского и неосуществленный ответ Пушкина отразились в черновых стихах «Онегина», которые не могли войти в роман.

ТАТЬЯНА

Онегин с Ленским приезжает к Татьяне на именины. Их «сажают прямо против Тани:

...Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать, уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли...

В черновиках иначе:

вдруг упала
Бедняжка (в обморок) — тотчас
Ее выносят — суетясь
(Толпа гостей залепетала)
Все на Евгения глядят
Как бы во всем его винят...

Пушкин выбирает негативный вариант.
Татьяна в Москве:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

В черновике было иначе:

Архивны юноши толпою
На Таню издали глядят
О милой деве меж собою
Они с восторгом говорят...

МАРТЫНА ЗАДЕКА,
сто-шестилѣтняго славнаго швейцарскаго старика,
ЛЮБОПЫТНОЕ ПРЕДСКАЗАНІЕ
на будущія времена,
и
толкованіе имъ сновъ по астрономіи, происходящихъ
по
ТЕЧЕНІЮ ЛУНЫ.
съ присовокупленіемъ
ФОКУСА-ПОКУСА,
или
ВОЛШЕБНЫЯ ИГРЫ.
собранная
И. Глазуновымъ.

МОСКВА, 1801.
Въ Университетской Типографіи.

Мартын Задека, «гадатель, толкователь снов» (книгу, изданную под именем которого читает Татьяна в пушкинском романе).

Татьяну привозят в театр:

И обратились на нее
И дам ревнивые лорнеты,
И трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.
Внизу вопросы зашумели:
«Кто эта, с правой стороны
В четвертой ложе» (полетели)...

Теперь же в романе сказано:

Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

Ее не заметили. Переход от Татьяны-барышни к Татьяне — светской даме впереди. Превращение будет поэтому удивительнее.

Пушкин нарисовал Татьяну в черновой рукописи письма Татьяны.

В черновиках письма Татьяны есть стихи:

Моя смиренная семья,
Уединенные гулянья
Да книги — верные друзья —
Вот все, что (так) любила я...

В письмо Татьяны эти стихи не вошли.

О том, о чем они говорили, Татьяна вспоминает в последней главе романа.

Стихи, остававшиеся в черновиках письма Татьяны, отзовутся в ее ответе Онегину. Княгиня вспомнит: «Вот все, что так любила я» — и окажется прежней Таней.

Сказав в восьмой главе «Онегина»:

Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал?

Пушкин показал ее такой, какой когда-то нарисовал ее в черновике письма Татьяны:

Сидит не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает,
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой...

В то время, когда Пушкин писал письмо Татьяны, он нарисовал ее дважды: на одном рисунке Татьяна стоит, а на другом сидит,

Опершись на руку щекой.

Это поза, не приобретенная в свете. По ней мы узнаем в княгине прежнюю Таню.

Татьяна пишет Онегину в окончательном тексте:

Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...

С этими стихами, бесспорно, связан монолог Демона в поэме Лермонтова:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.

Влияние некоторых других стихов письма Татьяны в лермонтовской поэме уже отмечалось[1]. Но неожиданнее всего, что рукописные варианты письма Татьяны, ставшие доступными читателю только в наше время, то есть стихи Пушкина, которых Лермонтов не читал и знать не мог, еще больше напоминают стихи самого Лермонтова. Вот эти черновые стихи из письма Татьяны:

Ко мне, ко мне ты послан богом,
Я знаю ты хранитель мой,
Вся жизнь моя была залогом
[Свиданья моего с тобой]
Ты мне внушал мои моленья
[Любви] небесной [чистый] жар
И грусть и слезы умиленья
Они тебе, они твой дар.

Переворачиваем еще страницу черновых вариантов «Онегина» и читаем:

Кто ты, мой ангел ли хранитель
Иль демон, сердца искуситель?
Приди, сомненья разреши...

Демон. Слово сказано.

Удивительное сходство стихов Лермонтова с неизвестными ему черновиками Пушкина объясняется тем, что Лермонтов развил в своем «Демоне» многое из того, что Пушкин из «Онегина» устранил, оставив в черновиках своего романа.

ОТБРОШЕННЫЕ ВАРИАНТЫ

Замечания Пушкина на полях «Опытов» Батюшкова говорят о том, что значит для Пушкина каждое слово в стихе.

Против батюшковского стиха: «Покрытый в зиму *ярким снегом...*» Пушкин написал:

«Было прежде: *белым* снегом».

---

[1] См. Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова Киев, 1914, стр. 129.

Пушкин в первой главе «Онегина» в черновиках писал:

Адриатические волны
О Брента! нет, увижу вас
И вдохновенья снова полный
(Я слышу ваш *прозрачный* глас).

Последний стих Пушкин зачеркнул, в «Онегине» мы читаем:

И вдохновенья снова полный,
Услышу ваш *волшебный* глас!

Много лет спустя Мережковский восхищался, найдя у Толстого *прозрачный* звук копыт; он еще раз назвал Толстого ясновидцем плоти.

Такое «ясновиденье» было в возможностях искусства Пушкина, но он здесь ограничил себя.

Онегин едет к Talon:

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади»! — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

«И это достопамятное обстоятельство,— говорит Писарев,— дало Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает удивительною способностью «делать поэтическими самые прозаические предметы». Писарев возмущался бы еще больше, если б знал, что Пушкин написал эти стихи не сразу и тратил время на варианты.

Уж темно, в санки он садится
Пади, пади! раздался крик
(Летучим снегом) серебрится
Его бобровый воротник...

В черновике есть еще:

И покрывает пылью снежной
Седой бобровый воротник.

Онегин с Ленским впервые приезжают к Лариным:

Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.

Прежде чем в «Онегине» остался кувшин с брусничной водой, были варианты:

Обряд известный угощенья
Несут на блюдечках варенья
Бутыль с брусничною водой
Арбуз и персик золотой...
...Несут домашние варенья...
...Крыжовник...
...И доморощенный арбуз...
...И блюдо с дыней золотой...

В другой рукописи:

...И сливы с дыней золотой...
...И вишни с дыней золотой...

«Арбуз и персик золотой», «И блюдо с дыней золотой». Золото Пушкин убрал. Место ему не здесь, у Лариных. Оно в первой петербургской главе «Онегина»:

Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым...

Пушкину здесь нужен не натюрморт, а типичная деталь: она обозначает не вещь, а ситуацию — предмет в целом.

Цветовым эпитетом Пушкин пользуется сдержанно и не часто. Он выбирает его.

Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

Прежде чем задернуть книги траурной тафтой, Пушкин перебрал в черновике:

...Задернул (розовой)? тафтой...
...И под зеленою тафтой...

Онегин едет на Кавказ:

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук

В черновике:

Стоит Бешту остроконечный
И с ним синеющий Машук.

Об Одессе в черновиках сказано:

Мгновенно площади погрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
Чрез улицу дерзает вброд,
Кареты, дамы, люди вязнут,

И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет быстрого коня.

К этому стиху есть варианты:

Сменяет пылкого коня.
Сменяет гордого коня.
Сменяет легкого коня.
Сменяет слабого коня...

Теперь в романе мы читаем:

И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

Пушкин нашел наконец верный для ситуации эпитет.

Пушкин ценил подготовительные этюды больших художников, которые называются у поэтов вариантами, оставшимися в рукописи.

Бартенев приводит шутку Пушкина, которая очень хорошо показывает это: «Жуковский, когда приходилось ему исправлять стихи свои, уже перебеленные, чтобы не марать рукописи, наклеивал на исправленном месте полосу бумаги с новыми стихами». Однажды, когда такая наклейка была сорвана, Пушкин поднял ее и сказал: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится».

В первой главе романа сказано о гувернере Онегина:

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора

Черновой вариант этих стихов объясняет, почему мосье прогнали (или «согнали») со двора:

Когда же юности мятежной
Пришла Онегину пора,
(Мосье же стал наперсник нежный)
Monsieur согнали со двора...

Прежде чем гувернером Евгения остался monsieur l'Abbé в черновике мелькнул:

Monsieur, швейцарец очень умный.

«Швейцарец». «Очень умный».

Вспоминая, как была написана ода «Вольность», Вигель говорит: у Тургеневых собирались «высокоумные

молодые вольнодумцы» [1]. В одном из планов задуманного романа «Русский Пелам» Пушкин написал: «Общество *умных* (И. Долгоруков, С. Трубецкой, Никита Муравьев etc.)». Это — общество декабристов.

«Monsieur, швейцарец очень умный», мог бы быть гувернером, не похожим на monsieur l'Abbé, который стал гувернером Евгения в печатном тексте романа.

Глядя на Петровский замок, вспоминая вступление в Москву Наполеона, Пушкин в черновиках писал:

Отселе в думу погружен,
Глядел на *жадный* пламень он...

И еще:

На жертву *славную* глядел...
На жертву *грозную* глядел...



Граф М. С. Воронцов.
Рисунок Пушкина.

В окончательном тексте Пушкин написал:

Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Пламень всегда *жадный*. Для Наполеона пламень Москвы был грозным.

В черновиках Пушкин писал о Москве:

Москва, как много в этом звуке
Для сердца моего слилось.

Потом стало:

Как часто в горестной разлуке,
В моей изменчивой судьбе,

---

[1] «Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. VI. М., издание «Русского архива», 1892, стр. 10.

Москва, я думал о тебе.
Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...

* * *

В вариантах восьмой главы «Онегина» Пушкин сказал:

Тут был поэт, не говоривший
Ни о себе, ни о врагах...

Давно замечено, что Пушкин устранял из стихов все, что слишком прямо говорило о нем не как о поэте, а как о человеке. Об Онегине в черновиках второй главы Пушкин сказал:

Он очень уважал решимость
(Гонимый гений, простоту)
Гонимой славы нищету

Ссыльный Пушкин вычеркнул эти стихи, как вычеркнул стихи о своей одесской жизни, слишком точно изображавшие его тогдашний быт:

...Я жил поэтом
Без дров зимой — без дрожек летом.

Пушкин писал о будущем Одессы в черновиках:

...фонтаны хлынут —
Ручьи в оградах потекут
И вместо графа Воронцова
Там будет свежая вода.
Тогда поедем мы туда.

Стихи остались необработанными. Напечатаны они, конечно, быть не могли.

В последней строфе второй главы «Онегина» Пушкин писал:

Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был Поэт.

Черновой вариант говорит нам, о ком думал Пушкин:

Быть может (лестная надежда)
Укажет с *кафедры* невежда
(На мой) . . . . портрет
И молвит: то-то был поэт.



Рисунок Пушкина.

* * *

Современникам казалось, что Пушкин «рассказывает роман *первыми* словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении «Онегин» есть феномен в истории русского языка и стихосложения» [1].

Черновики Пушкина говорят о работе, без которой не могло бы создаться это впечатление.

Мериме (который сказал как-то, что «Онегин» сначала показался ему «несколько растянутым» из-за «частого применения отступлений и скобок» [2]) в 1868 году писал, сравнивая Пушкина с Байроном [3]:

«Байрон... никогда не благоволил делать выбора между мыслями, теснившимися в его воображении... Питая слишком мало доверия к уму и воображению читателя, он хочет все объяснить ему, он комментирует самого себя, и наименьший риск, которому он себя этим подвергает, состоит в том, что он делает нас, так сказать, свидетелями процесса своего творчества, вместо того чтобы представить нам уже готовый результат его».

Пушкина Мериме в этой статье противопоставил Байрону: «Как Пандар, гомеровский лучник, он долго разы-

---

[1] «Московский вестник», 1828, ч. VIII, № 5.

[2] Письмо Мериме Соболевскому от 31.VIII 1849 г. А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 101.

[3] Мериме. Александр Пушкин. Перевод А. К. Виноградова. М., изд. Журнально-газетного объединения, 1936, стр. 10—11.

скивает в своем колчане именно ту прямую и острую стрелу, которая неминуемо попадает в цель. Простота и иногда некоторый внешний беспорядок являются у него лишь расчетом утонченного мастерства...»

Томашевский назвал пушкинские черновики стенограммами его творческого процесса. Рабочие тетради Пушкина, опубликованные в Большом академическом издании «Евгения Онегина» через сто лет после смерти поэта, открывают перед нами возможность изучения творческой истории великого романа [1].

1940

---

[1] В настоящем виде статья «Работа над «Онегиным» была прочитана автором в 1940 году на заседании Пушкинской комиссии Союза советских писателей СССР. (См. «Новое в работах пушкинистов», «Литературная газета», 1940 г., № 62). Ряд этюдов, входящих в нее, публиковался в периодике в 1947—1957 гг. (См. также «IV Международный съезд славистов», т. I, АН СССР. М., 1962, стр. 591—592). Целиком статья печатается впервые.

Пушкин.
1836 год

«ПАМЯТНИК»

Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему...

А. Чехов. Из записной книжки.

(Разговор у памятника Пушкину. Действующие лица: Ведущий, Памятник Пушкину, Вересаев, Сакулин, Гершензон) [1].

Памятник Пушкину. Милостивые государи! Прошу наконец исправить историческую опечатку на моем постаменте. Сколько раз об этом говорилось!

Ведущий. Не волнуйтесь, Александр Сергеевич. Прошу Вас, изложите обстоятельства дела.

Памятник Пушкину. На последнем году жизни в стихотворении «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» я сказал:

И долго буду тем *любезен я народу,*
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу...

И что же? После моей смерти Жуковский, разбирая по высочайшему повелению мои рукописи, из дружбы ко мне, — дело было во времена Николая Павловича,— исказил эти стихи. Вместо слов:

---

[1] См. М. Гершензон. Мудрость Пушкина, «Памятник». Москва, 1919; П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. «Пушкин». Сборник 1-й Пушкинской комиссии О-ва любителей российской словесности, 1924; В. Вересаев. Заметки о Пушкине. «Новый мир», книга 2-я, 1928.

И долго буду тем любезен я народу...
Что в мой жестокий век восславил я *Свободу*...

он написал:

И долго буду тем *народу я любезен*...
Что прелестью живой стихов я был полезен.

И до сих пор на постаменте моего памятника гранитными буквами вырезана искаженная в прошлом веке из-за царской цензуры цитата. Эту не простую, как видите, опечатку, теперь,— когда поставлен вопрос о критическом освоении классиков,— пора бы исправить, пора уяснить, что я сказал в своем «Памятнике» о значении моей поэзии.

Ведущий. Александр Сергеевич вполне прав. Тем более что, обсудив «Памятник», мы конкретно и на весьма показательном примере сможем видеть: как надо и как не надо читать и комментировать классиков.

Ввиду ограниченности регламента, однако, слово желающим высказаться будет предоставлено только для исключающих друг друга предложений.

Позвольте мне прежде всего огласить текст «Памятника» по сохранившейся рукописи.

Голоса. Просим; Голоса: пусть Александр Сергеевич сам прочтет.

Памятник Пушкину. Благодарю. *(Читает.)*

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
I К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
II Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
III И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
IV Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о Муза, будь послушна,
V Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Ведущий *(повторяет последний стих)*. «И не оспоривай глупца...»

Слово имеет покойный Михаил Осипович Гершензон.

Гершензон. «Замком» называют камень, замыкающий и укрепляющий свод. В критической легенде о Пушкине таким замком является общепринятое истолкование «Памятника».

Стихотворение это написано Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы его поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров. Напротив, все понимают ее одинаково и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так искони объясняют «Памятник» биографы и комментаторы Пушкина.

Мне кажется, что традиционное истолкование «Памятника» *всецело искажает* смысл этой пьесы.

Голоса: Слушайте, слушайте!

Я сразу выскажу свою мысль, чуждую всяких ученых соображений, внушенную единственно простым чтением пушкинских строк; я полагаю, что только так, и никак не иначе, должен понять эти строки всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно.

Пушкин в четвертой строфе «Памятника» говорит не от своего лица,— напротив, он излагает чужое мнение, мнение о себе народа. Эта строфа не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит.

Памятник Пушкину *(с места)*. Пусть так. Но что же из этого следует?

Гершензон. Пушкин говорит: «Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы, она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы...

В «Памятнике» точно различены: 1) подлинная слава — среди людей, понимающих поэзию,— а таковы преимущественно поэты:

> И славен буду я, доколь в подлунном мире
> Жив будет хоть один пиит;

и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава-известность:

> Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Эта пошлая слава будет клеветою...

Я утверждаю, что лишь при таком понимании становится понятной пятая, последняя строфа «Памятника», совершенно бессмысленная в традиционном истолковании пьесы... Ее смысл — смирение перед обидой».

Вересаев. Загадочная, волнующая своей непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф.

В критике традиционного толкования «Памятника» у Гершензона много верного. Но чего-то окончательного не хватает! Очень натянутым кажется объяснение, что Пушкин предвидит два рода славы: подлинной — среди поэтов — и «пошлой» — в народе.

Но и традиционное понимание... Поэт в гордом сознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе — и вдруг: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». При чем тут клевета? О ней ведь и речи не было... «Не оспоривай глупца». В чем? Откуда вдруг этот глупец?..

Если не видеть — по-моему, бьющего в глаза — контраста между пятой строфой и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое П. Н. Сакулиным: он ведь находит ей объяснение в том, что она относится к современникам поэта.

Сакулин. В заключительной строфе поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников.

Историзм помог Пушкину разобраться в проблеме «гений и толпа». Великие люди часто терпят обиды от

современников, но их оценит справедливое потомство. Этой мыслью закончил Пушкин свое стихотворение «Полководец»:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в *грядущем поколеньи*
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Аналогия с поэтом очень близкая!

Ведущий. Помилуйте, какая ж аналогия? В приведенных вами стихах «Полководца» Пушкин говорит, что «высокий лик» избранника «в грядущем поколеньи» оценит *поэт,* тоже избранник, а не все грядущее поколенье. Ваш пример скорее подкрепляет толкование Гершензона, которое вы хотели опровергнуть.

Сакулин безмолвствует.

Вересаев. Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием Горациеву «Exegi monumentum» и «Памятнику» Державина, особенно последнему. Державину Пушкин подражает неприкрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина, и у Державина — одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин: *«Я памятник себе воздвиг чудесный,* вечный». Пушкин: *«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»*. Державин: «Так. *Весь я не умру»*. Пушкин: *«Нет, весь я не умру»*. Державин: *«Слух пройдет обо мне»*. У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над «пройдет» написана цифра 2, а над «обо мне» — 1: «Слух обо мне пройдет». Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина.

Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто вроде «Памятника» написали, скажем, Шекспир, Гёте или Байрон, мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но Державин...

Слушаешь — и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не пародия ли все это стихотворение?.. Ясно выраженная, неприкрытая пародия на «Памятник» Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина.

Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской. У Державина последняя строфа совсем в том же тоне, как все стихотворение:

О Муза! Возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарею бессмертия венчай!

Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это уменья не хватило: ни к селу ни к городу приплел и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то... Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин противопоставляет свое отношение к славе отношению державинскому... И на его гордостный памятник он ответил тонкой пародией своего «Памятника». А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то «самооценку» Пушкина...

Пауза. Все молчат.

Ведущий. Что скажете о комментариях, Александр Сергеевич?

Памятник Пушкину. Что ж! У г-на Гершензона все, что верно, то не ново, а что ново, то неверно. Об остальных... Впрочем *(махнув рукой)*, в спорах рождается истина...

Но я вынужден огорчить вас, господа. Все наши остроумные усилия направлены к тому, чтобы объяснить противоречие, или, как говорит г-н Вересаев, бьющий в глаза контраст между пятой строфой и первыми четырьмя строфами моего «Памятника».

Но дело в том, что все вы, гг. комментаторы, своими взаимоисключающими толкованиями объясняете вами же выдуманное противоречие. Пятая строфа вовсе не противопоставлена предыдущим четырем.

Голоса. Как! Не может быть!

Общий шум.

Позвольте сразу разъяснить ошибку.

Г-н Вересаев весьма счастливо отметил, что в «Памятнике» я подражаю Державину, неприкрыто, даже

подчеркнуто, а отступил от подражания только в своей последней строфе. Но Державин, замечает г-н Вересаев, не чета мировым гениям, Шекспиру или Байрону. Стало быть, «подражая» Державину, я его пародирую. Пародийным, по-видимому, представляется г-ну Вересаеву высокий стиль моего «Памятника».

Мой «Памятник» действительно соотнесен с державинским. Но не всякое соотнесение непременно подражание или пародия, как полагает г-н Вересаев. Я повторил, как это было очевидно еще старику Гроту, весь «ход мыслей» державинского «Памятника». Но, замечу, повторить «ход мыслей» не значит повторить мысли Державина. Державин, в мои времена знаменитейший поэт, классик, каким я являюсь для вас, был, как вы сказали бы теперь, исторически иным типом поэта, нежели я. Последуя его «Памятнику» строфа за строфой, я, путем противопоставления, резче смог выразить своеобразие моего поэтического самоутверждения.

Ведущий. Державинский «Памятник», стало быть, послужил Вам, Александр Сергеевич, контрастным фоном?

Памятник Пушкину. Да, если говорить присущим вам теперь языком.

Вересаев. Но откуда же в пятой строфе этот «глупец»?

Памятник Пушкину. «Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской». Так, кажется, вы советовали, г-н Вересаев?

Вересаев. Да.

Памятник Пушкину. Последуем вашему совету.

«Глупец» в моей пятой строфе «оттуда» же, откуда у Державина в пятой строфе те, о коих он сказал:

> О Муза! Возгордись заслугой справедливой
> И презрит кто тебя, сама тех презирай.

В пятой, заключительной строфе моего «Памятника» я повторил вслед за Державиным тематические мотивы пятой же строфы его «Памятника». Моя пятая строфа противостоит пятой строфе Державина точно так же, как каждая из моих предыдущих строф противостоит соответственной ей по порядку державинской строфе. Но, повторяя тематические мотивы Державина в пятой строфе, я, как и в каждой из своих предыдущих строф, дал здесь

свое, противопоставленное державинскому ответу решение вопроса.

Ведущий. Итак, Александр Сергеевич, Ваша пятая строфа противопоставлена не «по вертикали» предшествующим ей строфам Вашего «Памятника», а «по горизонтали» противопоставлена соседней с ней, заключительной, пятой строфе «Памятника» Державина?

Памятник Пушкину. Да, так. Вопрос об отрицательном отношении к музе, которое всегда сопутствует славе, затронут Державиным в заключительной строфе его «Памятника» *впервые* на протяжении всего стихотворения. Так же, вне связи с предыдущими строфами, *впервые* на протяжении всего стихотворения мотив этот включен и в заключительную строфу моего «Памятника». Тем, кто «презрит» музу Державина, соответствуют клеветники моей музы. Вот «откуда вдруг этот глупец»...

Здесь я поневоле счел себя вынужденным, господа, разъяснить вам сперва поэтическую механику моего «Памятника». Смысл ее применения станет вам ясным после последовательного разбора стихотворения в целом, начиная с его первой строфы.

Ведущий. Нас, Александр Сергеевич, интересует прежде всего исторический и социальный смысл.

Памятник Пушкину. Надеюсь, вас в таком случае вполне удовлетворит мой разбор.

Державин начал свой «Памятник» так:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Его «Памятник» противостоит стихиям и разрушительному действию времени.

Мои стихи гласят:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет *народная* тропа.
Вознесся выше он главою *непокорной*
Александрийского столпа.

Жуковский недаром принужден был исказить четвертый стих и написать:

Наполеонова столпа.

Александрийский столп воздвигнут был в память императора Александра I, моего современника и тезки, незадолго до того, как я написал мой «Памятник». «Этот монумент превосходит величиною все известные памятники на земном шаре»,— писал об Александровской колонне энциклопедический лексикон Плюшара. 30 августа 1834 года последовало торжественное открытие памятника, в присутствии государя, всей императорской фамилии, многих русских и иностранных вельмож, ста тысяч войск и пр.

Я же уехал из Петербурга почти накануне торжества, «чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камерюнкерами».

Ведущий. Ваш отъезд, стало быть, был демонстрацией, Александр Сергеевич?

Памятник Пушкину. На вершине Александрийского столпа поставлен ангел с лицом Александра I.

Ведущий. Сказав о своем «Памятнике»:

Вознесся выше он главою *непокорной*
Александрийского столпа,—

Вы, Александр Сергеевич, взамен соизмерения с безличными силами стихий и времени дерзнули, значит, померяться славой с царским памятником, с царем и царской славой?

Памятник Пушкину. «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил...» — писал я о своем сыне.

Ведущий. Вы выразили в первой строфе «Памятника», стало быть, начало соперничества — славы поэта Александра Пушкина и тезки своего императора Александра Романова.

Мнение Ваше о происхождении славы Александра I нам известно:

Нечаянно пригретый славой
Плешивый щеголь, враг труда.

Памятник Пушкину. Хоть я сравнивал себя с императором Александром — и не только в шуточных стихах «Ты и я»: «Ты богат, я очень беден, // Ты прозаик, я поэт»,— но вопрос «поэт и царь» в первой строфе «Памятника» поставлен и решен куда шире, исторически — не только с точки зрения личного соперничества в славе.

Ведущий. Но как в этой связи должны мы понимать стих «Я памятник себе воздвиг *нерукотворный*»? Нерукотворный — эпитет редкий, необычный. Помнится, он вызывал еще недоумение князя Вяземского. Откуда он?

Памятник Пушкину. Когда воздвигнут был Александрийский столп, вспоминали памятник Петру. Сравнивали два монумента. «После неимоверных трудов и преодоления множества препятствий» столп был привезен на корабле, нарочно для того сооруженном, так же как во время оно «камень-гром», назначенный в подножие конному лицеподобию императора Петра I, Медному всаднику.

К той гранитной глыбе поэт Василий Рубан сочинил свою знаменитую «надпись»:

Колосс Родийский, свой смири прегордый вид.
И Нильских здания высоких пирамид
Престаньте более казаться чудесами —
Вы смертных бренными соделаны руками.
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров, чрез Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра.

Царскому монументу, Александрийскому столпу, колоссальному, но *рукотворному*, я противопоставил свой подлинно нерукотворный памятник.

Ведущий. Позвольте, Александр Сергеевич, перебить Вас. Вересаев удивлялся, что Вы подражали в своем «Памятнике» Державину. Он недоумевал, указывал: было бы еще понятно, если бы нечто вроде «Памятника» написали мировые гении вроде Байрона или Шекспира.

С одной стороны, Александр Сергеевич, стало быть, в первой строфе своего «Памятника» Вы противопоставляете себя Державину, который писал об императрице:

Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам...
Ты славою,— твоим я эхом буду жить...

Вы же, Александр Сергеевич, своим «Памятником» утверждаете, что слава поэта совсем не эхо царской славы. Но, утверждая независимость, самозаконность и превосходство славы поэта над славой царя, Вы повторяете тем самым как раз мотивы Шекспира и Байрона.

Памятник Пушкину. Вы намекаете на 55-й сонет Шекспира?

Ведущий. Да. Переведу своей нескладной прозой его первый катрен: «Ни мрамор, ни позлащенные памятники князей не переживут сего мощного стиха. Но ты будешь сиять еще ярче в его обрамленье, чем неподметенные плиты монументов, замаранные неряшеством времени».

А Байрон, не писал ли он в любимой Вами, Александр Сергеевич, не раз послужившей для Вас источником четвертой песне «Чайльд Гарольда»: «Что пирамида из ценных камней, порфира, яшмы, агата и все расцветки драгоценного мрамора, скрывающие прах князей... Почтительней, нежели по плитам княжеских могил, ступаешь... на дерн, покрывший тех мертвецов, чьи имена суть мавзолеи музы...»

Я привожу это сопоставление, Александр Сергеевич, не для того, конечно, чтоб указать на заимствование. И конечно же Вы, конкретизировав, придав злободневность сопоставлению «нерукотворный памятник» поэта — «Александрийский столп», пошли куда дальше, чем Шекспир и Байрон в стихах, которые мы вспомнили теперь, которые Вам были хорошо известны.

Памятник Пушкину. Ваши соображения можно подкрепить сопоставлением второй строфы моего «Памятника» с державинским. Державин сказал:

И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Так, у Горация было сказано:

Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.

(Перевод-подражание Ломоносова)

Я же написал:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Ведущий. Здесь, стало быть, продолжен и развит мотив самозаконности поэтической славы, которая живет не отраженным светом государя и долговечней самого государства. Так, великий Рим более не владеет

светом, но слава поэта Горация пережила Рим и его владычество. Не так ли?

Памятник Пушкину. Вы совершенно правы. Но первая строфа моего «Памятника», кроме того, прямо перекликается с моей четвертой строфой. Державин в четвертой строфе своего «Памятника» сказал:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Фелицы возгласить.
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Я же в четвертой строфе сказал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

А в первой строфе «Памятника» сказал: «К нему не зарастет народная тропа».

Здесь я говорю об отношении народа. Не то же ли противопоставление, что и в этой строфе, противостоящей державинской, еще девятью годами ранее я наметил в отрывке, который остался тогда недописанным? Вот он:

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями:
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь,—
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит,
Он украшает их пиры
И сыплет Фебовы дары,
И внемлет . . . .
Меж тем . . . .
Теснясь у ступеней крыльца,
Народ колеблется волнами;
С почтеньем слушает певца...

Вот вам тоже противопоставление поэта, олицетворением которого является Державин, поэту, о котором говорит (в четвертой строфе) мой «Памятник».

Незачем добавлять, что раз появление «глупца» и слов о «клевете» в заключительной строфе моей (вне всякой связи с четвертой строфой) для вас теперь объяснилось, отпадает всякая возможность утверждать, как это сделал г-н Гершензон, что мнение обо мне народа, изложенное в четвертой строфе, я для себя считаю клеветой.

Что под «глупцом» я разумею не народ, вряд ли нужно еще доказывать. Но напомню, кроме своих слов о «черни светской», не писал ли я в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (см. варианты):

Что слава? Шепот ли чтеца?
Хвала ли хладного невежды?
(Презренье ль гордого невежды)
Гоненье ль з н а т н о г о глупца?

А затем в окончательном тексте:

Гоненье ль низкого невежды
Иль восхищение глупца?

«Низкий невежда», «знатный глупец» — одна цена им. Вот о ком речь, а не о народе.

Мотив «воздвигнул памятник», как отметил г-н Сакулин, я затронул впервые еще в молодости, в черновиках второй главы «Евгения Онегина»:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный,
Могу ль воскликнуть...
я
Воздвигнул памятник.

Но важно ведь, на что г-н Сакулин внимания не обратил, что, отбросив этот черновой отрывок, я заменил его строфами, в которых развита та же мысль:

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: — То-то был Поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

И здесь, как в «Памятнике», поэт, или «поклонник мирных Аонид», противостоит «будущему (не только современному) невежде» (сравни — «Хвала ли хладного невежды», «Гоненье ль знатного глупца», «Презренье гордого невежды»), а не отношению народа, которому поэт «любезен», который «с почтеньем слушает певца», хотя народу, ценящему, «что в мой жестокий век восславил я свободу», не свойственно было ценить в этот жестокий век «искусство для искусства».

Ведущий. Итак, говоря о своем историческом значении, Вы, Александр Сергеевич, понимали, что объективно своей славой в народе Вы обязаны общественному значению Вашей поэзии, тому общественному резонансу, который она вызывала иногда независимо от Ваших субъективных целей?

Памятник Пушкину. Пожалуй, что так. Не писал ли я в наброске 1821 года: «Не тем горжусь я, мой певец»:

...И что разящий голос лиры
Тирана в ужас приводил;
Не тем, что пылким вдохновеньем
Не тем, что пылким дерзновеньем

И бурной юностью моей
Мятежной юности моей

И жаждой воли и гоненьем
И страстью правды и гоненьем
Я стал известен меж людей;

Иная высшая награда
Была мне роком суждена...

Так. Но «известен меж людей» я уже в молодости стал благодаря моей политической поэзии и «гражданскому резонансу» ее, как вы сказали.

Ведущий. Нам нет надобности, Александр Сергеевич, изображать Вашу поэзию как только революционную, во что бы ни стало. Это только мешало бы действительно критическому освоению Вашего наследства.

Но вот что мы должны признать. Ваш «Памятник» не только противостоит «Памятнику» Державина, диаметрально противоположно ставя проблему «Поэт и царь». Ваш «Памятник», враждебный царю, дружески обращен к народу.

Но не следует ли признать, что народ Вы рассматривали как массу, дружественную «общественному резонансу» Вашей поэзии, но безликую, массу, которая лишь «с почтеньем слушает певца»?

Памятник Пушкину. Не вынужден ли я был писать: «класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам...»

Ведущий. Что же показало наше сегодняшнее обсуждение?

Оно показало прежде всего, к чему приводят попытки идеалистически-абстрактного чтения и толкования поэзии прошлого «по здравому смыслу», «по-гершензоновски». Результатом такого чтения и толкования является отрыв произведения от конкретной исторической почвы, на которой оно возникло, для того чтобы «вчитать» в произведение свой новый, исторически весьма конкретно обусловленный «смысл».

С другой стороны, Вересаев принял «Памятник», серьезнейшее произведение Пушкина, за пародию, так как рассматривает произведения прошлого *не диалектически,* не как момент конкретного историко-литературного процесса. Подходя со своей современной системой эстетического осмысления к явлениям иной эстетической структуры, такие ценители искусства, как Вересаев, эстетически искаженно осмысляют поэзию прошлого.

Простое сопоставление «Памятника» Пушкина, например с «Памятником» Батюшкова, действительной пародией на державинский «Памятник», с «Памятником» Мицкевича («Франку Гржималу»), в котором есть действительно элементы иронии и т. д., может быть, помешало бы Вересаеву впасть в столь грубую ошибку. А если бы он не игнорировал вопроса об историческом (и социальном) смысле противопоставления Пушкиным своего «Памятника» державинскому, возможность такой ошибки была бы исключена. Социальный смысл присущ не отвлеченному содержанию, но тому единству, в котором содержание находится с формой. Эстетически правильно понять произведение можно, только поняв его в целом, в его конкретно-исторической обусловленности.

Памятник Пушкину *(в сторону)*. «Ученый малый, но педант».

Ведущий. Классические колонны в подражание «древним» до сих пор строятся утонченными кверху.

Сакулин. На $^1/_6$ диаметра. Эта форма колонны канонизирована как эстетический идеал, достигнутый античным зодчеством.

Ведущий. А теперь говорят, что греки строили свои колонны прямыми. Утолщение устоявших до нашей эпохи античных колонн — результат деформации, оседания под влиянием времени.

Канонизировать «оседание» мы не должны и по отношению к поэзии прошлого.

Для того чтобы действительно ввести новый класс читателей во владение пушкинским наследством, нужна особая работа. Только такая работа исключит ошибки — искажающее переосмысление.

Историческая опечатка на Вашем памятнике, Александр Сергеевич, будет исправлена.

Памятник Пушкину. Хоть оживление памятников и несколько условный и легкомысленный прием...

Ведущий. Но ведь Вы сами, Александр Сергеевич, подали пример... «Медный всадник», «Каменный гость»...

Памятник Пушкину. Хоть оживление памятников и несколько условный прием и несмотря на ваш несколько менторский тон, позвольте, молодой человек XX столетия, пожать вам руку.

Обмениваются рукопожатием.

Ведущий. «О, тяжело пожатье бронзовой его десницы...»

1933

P. S. «Историческая опечатка» на пьедестале пушкинского памятника была исправлена в юбилейные дни 1937 года — через сто лет после смерти Пушкина. Вырезанные на граните строки, грубо искажавшие завещание поэта, были сбиты стальным резцом, и вместо них на граните засияли его подлинные слова...

Я счел возможным включить в настоящий сборник свою давнюю статью о нерукотворном памятнике, так как, по существу, она, мне кажется, не устарела. Основные выводы ее были приняты; их поныне цитируют и

развивают в последующих работах о пушкинском «Памятнике».

Со времени появления данной статьи и у нас и за рубежом вышли в свет новые исследования о нем. Среди них прежде всего надо назвать, конечно, ценную монографию академика М. П. Алексеева «Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»[1], книгу, целиком посвященную этому стихотворению.

Задачей моей статьи было прежде всего разъяснить мнимое противоречие, свойственное будто бы поэтическому завещанию Пушкина, надуманное, как мы убедились, самими толкователями «Памятника» и вызывавшее яростные споры.

В статье моей впервые было разъяснено историческое значение стихов, которыми открывается «Памятник»:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Необычайная смелость этих строк поэта становится ясной, если мы обратимся, как это было сделано в нашей статье, к рассмотрению идеи, положенной в основу создания Александровской колонны, тогда самой высокой в мире, и к изложению истории ее сооружения, обратив в связи со словами поэта внимание на то, что на вершине колонны поставлен был ангел с лицом, которому скульптор придал сходство с лицом Александра I, поступив так, можно добавить, по указанию императора Николая.

В статье впервые было объяснено также происхождение и действительное значение слова «нерукотворный». Об этом следует, мне кажется, упомянуть, так как, несмотря на то, что предложенное мною объяснение, по мнению авторитетных исследователей, «конечно, правильно», на Западе до сих пор появляются работы, авторы которых утверждают, что слово «нерукотворный» было заимствовано Пушкиным из области религиозных представлений, и, в связи с этим, стремятся доказать, что пушкинский «Памятник» представляет собой будто бы «документ христианской религиозной мысли» и что

[1] Изд. «Наука». Л., 1967 г.

в основе «Памятника» лежит религиозная идея [1]. Нашло признание и повторено в новых работах проведенное мною ранее сравнение мотивов пушкинского «Памятника» с мотивами прославленного 55-го сонета Шекспира и проч.

Должен сказать в заключение несколько слов о не совсем обычной в наше время форме, в которой написана моя историко-литературная статья о «Памятнике»: она была написана в свое время в форме «воображаемого разговора», в котором принимает участие и статуя Пушкина. Речь памятника в этом «воображаемом разговоре» носит, конечно, условный характер, и надо ли говорить, что я не имел намерения пытаться имитировать язык самого Пушкина или его эпохи. Манера, в которой статья написана, встретила одобрение (здесь можно указать, если говорить о недавнем времени, на отзыв в книге акад. М. П. Алексеева, стр. 51—52). Но думаю, что если бы я писал эту свою работу сейчас, я написал бы ее иначе, то есть в более обычной форме. Теперь, однако, переделывать ее и что-либо менять в ней мне показалось едва ли нужным.

1976

---

[1] См. статьи: А. Грегуара (1937 г.), Р. Д. Кейля (1961 г.), Ю. Бойко-Блохина (1971 г.) и другие. Подробнее об этом см. в упомянутой книге академика М. П. Алексеева (1967 г.) и в статье А. Шустова «Нерукотворный» или «Нерукотворенный» (По поводу одной зарубежной статьи)». «Вопросы литературы», 1973, № 6, стр. 169—170. Автор последней статьи имеет в виду работу Д.-Г. Хантли (1970 г.).

ДЖОН ТЕННЕР

1

Летом 1836 года Пушкин писал: «В Нью-Йорке недавно изданы «Записки Джона Теннера», проведшего тридцать лет в пустынях Северной Америки, между дикими ее обитателями». Пушкин напечатал в «Современнике» большую статью «Джон Теннер»[1]. Она долго не привлекала должного внимания. У Анненкова в «Материалах для биографии Пушкина» можно прочесть, как Пушкин, работая над этой статьей на каменноостровской даче, в воскресенье, сказал «полушутливо, полугрустно», встречая приятеля: «Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста — никогда»[2]. «Занимательную» статью о Теннере в свое время приводили в доказательство разносторонности интересов Пушкина и определяли как полуэтнографические заметки. Ее считали побочной для основных интересов поэта работой Пушкина-журналиста.

2

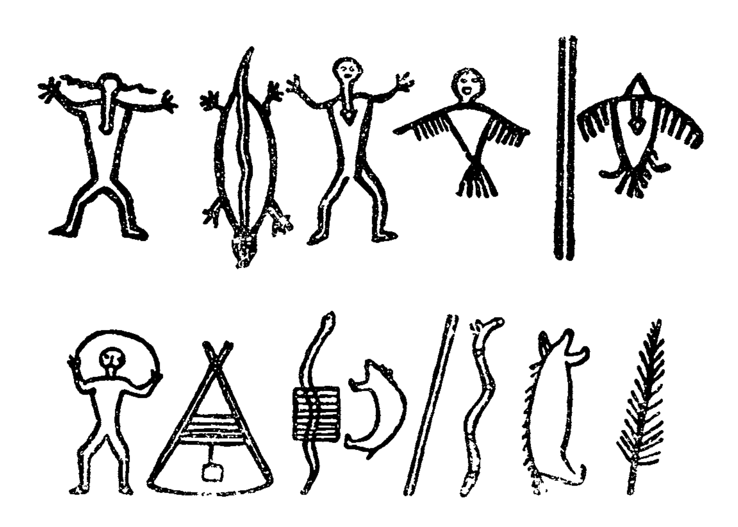
«Два века ссорить не хочу»,— писал Пушкин в «Онегине». (Там спор шел о стихотворных жанрах.) В статье «Джон Теннер» Пушкин ссорит XIX век с XVIII.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее

---

[1] См.: Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII, стр. 104—132.

[2] П. В. Анненков. «Материалы для биографии А. С. Пушкина». СПБ, 1855, стр. 421.



Рисунки индейцев, вырезанные на дереве. *(Воспроизведены в нью-йоркском издании книги Джона Теннера, 1830 г.)*

мыслящих,— писал Пушкин в этой статье,— и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы... такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

Далее читаем: «Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием; так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и простран-

ные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский».

«Нравы Северо-Американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах,— пишет Вашингтон-Ирвинг,— так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных».

«...«Записки» Теннера,— замечает Пушкин,— представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей. Это длинная повесть о застрелянных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности»... «Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека...»

Настоящая жизнь дикарей, засвидетельствованная в воспоминаниях Джона Теннера, оказалась в противоречии с философией XVIII века, каждая строка записок Теннера опровергает софизмы Руссо, говорит в своем предисловии Эдвин Джемс, записавший под диктовку воспоминания неграмотного Теннера.

Смысл статьи «Джон Теннер», однако, не в том только, что Теннер оказался для Пушкина любопытным свидетелем в споре с философами XVIII века о «естественном состоянии». Критика буржуазной демократии, на которую обращают внимание в статье Пушкина в наши дни, важнее [1]. Но и она является только другой (хотя и более важной) стороной вопроса о действительном, глубоком смысле этой статьи, не решая его целиком.

[1] Нельзя забывать, конечно, что Пушкин в этой критике присоединяется к Токвилю, называя его книгу «О демократии в Америке» и популяризуя ее в статье «Джон Теннер». Но в поисках материала для критики капиталистической цивилизации Пушкину не было необходимости путешествовать за океан вслед за Токвилем. Пушкинский «Разговор с англичанином» доказывает это.

Пушкин — гений, вырывавшийся за пределы своего века (эти слова еще в большей мере можно отнести к Пушкину, чем к Петру). Он отверг в «Теннере» буржуазную демократию, видя ее бесчеловечную основу и понимая мнимость буржуазной свободы личности. Но нельзя забывать, что Пушкин был вместе с тем человеком своего времени, хотя и опередившим своих современников. В этом смысле статью о Джоне Теннере можно назвать послесловием Пушкина к идейной истории его сверстника.

В молодости Пушкин мечтал о просвещенной свободе для своего отечества («И над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря?»). XVIII век — век просвещения. Пушкин смолоду воспринял идеи просветителей XVIII века, предшественников Американской и Французской революции. «Уложение», конституция Соединенных Штатов, и в «Джоне Теннере» для Пушкина плод «новейшего просвещения». Самые левые из единомышленников молодого Пушкина мечтали установить в России конституцию наподобие американской. Идеологи буржуазной революции думали, что революция принесет свободу, равенство и братство всему человечеству. Так думал и молодой Пушкин. И вот, как бы говорит на последнем году своей жизни Пушкин в «Джоне Теннере», смотрите, как осуществляется этот идеал. Эта демократия (буржуазная демократия, говоря нашим языком) несет взамен одной системы угнетения человечества другую; опять тиранство, цинизм, жестокие предрассудки, которыми подавлено все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую.

Не только поражения буржуазной революции, но и ее победы заставили Пушкина возбудить снова «вопросы, которые полагали давно уже решенными». В байронизме его южных поэм, еще до постановки им этих вопросов на новой основе, уже проявился этот кризис.

3

Когда Достоевский в речи на могиле Некрасова сказал, что в ряду поэтов Некрасов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым, из толпы молодежи послышались голоса, что Некрасов был выше их, а Пушкин был всего только «байронистом».

«...Словом: «байронист» браниться нельзя,— писал в ответ на эти возгласы Достоевский.— Байронизм хотя был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый *исход* еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые».

Тогда, говорит Достоевский, явился Байрон, «могучий гений, страстный поэт... Это была новая и неслыханная тогда муза мести и печали... В его звуках звучала тогдашняя тоска человечества и разочарование его в обманувших его идеалах... Это именно был как бы отворенный клапан». Пушкин отозвался тогда на звук «новой, чудной лиры» Байрона своими байроническими стихами. Но вслед за тем стал на «твердую дорогу, нашел великий и вожделенный исход для нас русских и указал на него. Этот исход был *народность...»* [1].

Мы знаем, что Достоевский неверно понимал народность Пушкина, что он по-своему толковал ее действительный смысл. Идеалы, к которым будто бы пришел Пушкин, по мнению Достоевского, изложенному в его известной (позднейшей) речи о Пушкине, чужды не только нам, но чужды были и Пушкину, они целиком принадлежат самому Достоевскому. Но приведенные слова его о «байронизме» Пушкина, о периоде перелома в сознании передового человечества, когда обозначилась ограниченность итогов (буржуазная ограниченность относительно

---

[1] Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений. М.— Л., 1929, т. 12, стр. 349—350.

прогрессивной, говорим мы, буржуазной революции), а «новый исход еще не обозначился»,— эти слова Достоевского помогают понять ход идейной эволюции Пушкина. Достоевский почувствовал перелом, наступивший вслед за Французской буржуазной революцией XVIII столетия. Нашему времени, в свете учения Маркса, ясен действительный исторический смысл этого явления — и то, как сказалось оно в творчестве Пушкина.

4

В байронических южных поэмах Пушкина было еще немало отзвуков руссоизма. Если мечтой лучших современников молодого Пушкина была американская конституция, другой мечтой — пусть выражаемой Пушкиным только в поэзии — было: «уйти к диким». Будем помнить об этом, читая «Джона Теннера».

Однажды, пишет Пушкин, начиная изложение «Записок» Теннера, отец больно высек Джона. «С той поры отеческий дом опостылел маленькому Теннеру; он часто думал и говаривал: «Мне бы хотелось уйти к диким!»

В 1820 году,— вспоминал Пушкин о себе в неотправленном письме к императору Александру I,— «распространились сплетни будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен... Я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении и впал в отчаяние...»[1] В те времена Пушкин — в поэзии — уходит «к диким».

Мечты маленького Теннера осуществились. Дикие индейцы его похитили. «Кавказский пленник» Пушкина стал пленником, когда «дикие» похитили его. Пушкин не отождествлял себя ни с «пленником», ни с Алеко (бежавшим к цыганам, стремясь к тому, «что некоторые философы называют естественным состоянием человека»).

В поэме Пушкина «Цыганы» кроме известных стихов Алеко о городской цивилизации:

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей,—

были в рукописи еще стихи:

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, 1949. АН СССР, т. X, стр. 784.

Торгуют вольностью, развратом
И кровью бледной нищеты.

В рукописях этой поэмы, которую Пушкин считал не окончательно отделанной, сохранился, как известно, не включенный в печатный текст монолог Алеко, обращенный к сыну:

Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы,
Останься посреди степей...
...Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Сокрыт от неги просвещенья,
От пышной суеты наук...
От общества, быть может, я
Отъемлю ныне гражданина.
Что нужды — я спасаю сына,
И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса.

«Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу». Эти слова из статьи Пушкина о Радищеве (написанной в том же 1836 году), где Пушкин тоже спорит с XVIII веком в самом себе, помогают нам понять «Джона Теннера».

«Джон Теннер» — вариант судьбы не одного только Алеко, героя «Цыган» [1], но и судьбы, ожидающей его полуцыганского младенца. Оказывается, дело не только в том, что Алеко неспособен жить в «естественном состоянии» «и всюду страсти роковые» (эпилог «Цыган»). В статье о Теннере сказано не то, что было сказано в эпилоге к «Цыганам». В жизни дикарей главным оказывается борьба за существование, «нужды», «отсутствие мысли», «вражда», «скотские оргии», «естественное состояние» — это животная жизнь.

У Вольтера есть дидактическая повесть «Дитя природы». Европеец, в младенчестве попавший в плен к индейцам, воспитан ими и взрослым возвращается на роди-

---

[1] И в то время, когда Пушкин писал «Цыган», он не отождествлял действительную жизнь цыган с ее изображением в поэме. Но, видя действительность, в то время еще идеализировал ее в своей поэме. А в «Джоне Теннере» Пушкин реалистически противопоставил эту действительность идеализации «естественного состояния».

ну, как Теннер. Вольтерово «дитя природы» — это явившийся из американских лесов идеальный человек буржуазного будущего. У Шатобриана Рене после блуждания в американских лесах слышит сентенцию: «Ты должен отказаться от этой необыкновенной жизни, исполненной одной тоски. Счастье только на обыкновенных путях».

Мы знаем, эти слова Шатобриана Пушкин повторял, размышляя о своей судьбе: «Счастье только на обыкновенных путях».

«Дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации,— пишет Пушкин,— таков неизбежный закон». Это — осознанная Пушкиным историческая необходимость. Но вспомним, как говорит Пушкин о возвращении Джона Теннера от «естественной» дикости к «цивилизации» и об ее «обыкновенных путях».

«Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками...» (Образованными!..)

«Он в тяжбе со своею мачехою о нескольких неграх, оставленных ему по наследству». (Тяжба с родными о рабах!..)

«Он очень выгодно продал свои любопытные записки»,— замечает здесь Пушкин с глубокой иронией (вспоминая, может быть, свои крепостные споры с родней и «журнальную торговлю»...).

И на днях будет, вероятно, членом Общества Воздержанности[1]. «Словом, есть надежда, что Теннер со временем сделается настоящим Jankee[2] (янки), с чем и поздравляем его от искреннего сердца...»

Горькая ирония!..

«Джон Теннер» — не экскурс Пушкина-журналиста. Это глубоко продуманная — и во многом итоговая — статья великого поэта. Для Пушкина не оказалось счастья на «обыкновенных путях» — в предыстории человечества — ни в иллюзиях о ее первобытной ступени («в том, что некоторые философы называют естественным состоянием человека»), ни на ее последнем, буржуазном этапе.

1937

---

[1] «Общество, коего цель — истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков» (Примечание Пушкина).

[2] «Прозвище, данное американцам: смысл его нам неизвестен. Издатель» (Примечание Пушкина).

Дневници
и
„Записки“

СОЖЖЕННЫЕ «ЗАПИСКИ»

Автобиографические записки, сожженные поэтом после разгрома восстания 14 декабря, представляют собой важнейшее не дошедшее до нас произведение Пушкина. Он называл его своей биографией. О судьбе ее он писал:

«В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства» [1].

Это было, по-видимому, большое произведение: Пушкин указывает, что своей «биографией» он «занимался» «несколько лет сряду». Вместе с ней поэт сжег и свои «Ежедневные записки», то есть дневники, служившие материалом для нее (в черновике Пушкин замечает, что «принужден был сжечь свои *тетради»*). Наконец, за три месяца до того, как рукописи были сожжены, Пушкин сообщал одному из друзей, что переписывает набело свои мемуары. Таким образом, большой труд этот был накануне восстания 14 декабря близок уже к завершению.

С уничтожением «Записок» «русская литература понесла невознаградимую утрату», писал когда-то первый биограф Пушкина — Анненков. Однако исследований о судьбе «Записок» поэта мы не встречали. Принято было считать, что от них ничего или почти ничего не сохранилось. Но были ли они действительно полностью уничтожены Пушкиным?

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII, стр. 310.

Рукопись Пушкина (начало 1830-х годов), в которой он сообщает, что после 14 декабря 1825 года принужден был сжечь свои Автобиографические записки («Биографию»). *Фрагмент*.

* * *

Утверждение Пушкина о том, что он сжег свои «Записки», носит, казалось бы, безоговорочный характер. Но известно, что утверждение автора об уничтожении рукописи не всегда является доказательством действительной гибели ее.

Лев Толстой, например, записал в дневнике в мае 1897 года: «Вырезал, сжег то, что написано было сгоряча»[1]. Однако погибшие, казалось бы, страницы толстовского дневника уцелели, так как Буланже, которому Толстой передал их с просьбой сжечь по прочтении, сохранил их. В другом подобном же случае подлинная запись, сделанная Толстым в дневнике 12 января 1897 года, была по просьбе Толстого уничтожена Чертковым; но последний, прежде чем уничтожить подлинник, сфотографировал его, и потому текст этой (действительно сожженной) страницы из дневника Толстого также дошел до нас.

Страницы дневника, которые Толстой считал сожженными, уцелели случайно, вопреки его воле. Когда мы говорим о возможности сохранения отрывков, входивших в состав «Записок» Пушкина, вопрос следует ставить не о случайном, а о сознательном сохранении Пушкиным подобных отрывков, поскольку мы знаем, что таким именно образом поступил позже Пушкин, уничтожая десятую главу «Евгения Онегина», в которой смело писал о декабристах. Сделав запись о сожжении ее, Пушкин зашифровал запретные строки этой главы с целью сохранить их для будущего. И листок с этими пушкинскими стихами уцелел, хотя только век спустя был расшифрован исследователями.

Когда мы говорим о «Записках» Пушкина, перед нами встает вопрос о судьбе запретного литературного произведения. Поэтому мы должны изучить вопрос о его «Записках» в свете всего, что нам известно о судьбе скрытых и уцелевших памятников декабристской литературы.

Вспомним, что «Русская правда» Пестеля и «Конституция» Никиты Муравьева были втайне сохранены, несмотря на то что декабристы утверждали на следствии, будто рукописи эти ими «истреблены». «Русскую правду» они скрыли, закопав в землю невдалеке от села Кирна-

[1] «Летописи Государственного литературного музея», 1938, кн. 2-я, стр. 19.



Пушкин. *Автопортреты. 1826 год.*

совки и распустив слухи об ее уничтожении; однако рукопись ее была обнаружена во время следствия, выкопана из земли и доставлена Николаю I. Издана же «Русская правда» могла быть впервые только после революции 1905 года.

«Конституция» Никиты Муравьева, переписанная рукой Рылеева, была также сохранена друзьями декабристов и возвращена И. И. Пущину, когда он три десятилетия спустя вернулся из Сибири. Между тем автор «Конституции» Никита Муравьев не только показал на следствии, что сжег свою рукопись, но, кроме того, на прямой вопрос: «Не осталось ли у кого-либо списка оной?» — ответил: «Я не полагаю, чтобы осталась у кого-либо копия Конституции, писанной мною» [1]. Естественно предположить, что Пушкин, сохранивший строки сожженной им «декабристской главы» «Онегина», мог сохранить какимнибудь образом и отрывки сожженных «Записок».

До сих пор не было твердо установлено даже, когда именно уничтожил Пушкин свои «Записки». Некоторые исследователи упоминают как о чем-то само собой разумеющемся, что он сжег их тотчас же по получении известия о разгроме восстания 14 декабря. Между тем в одной из недавних работ — на основании рассказа друга Пушкина П. В. Нащоки-

[1] «Восстание декабристов», т. I. Госиздат, 1925, стр. 297 и 303.



Рисунки Пушкина: П. А. Вяземский (вверху), ниже декабристы: слева — Пестель, справа — Трубецкой и Рылеев. Снизу профиль В. Ф. Вяземской.

на — говорится, что лишь «при неожиданном появлении в Михайловском в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года фельдъегеря, приехавшего за поэтом, Пушкин, не ожидавший для себя ничего доброго, поспешно бросил в огонь часть своих рукописей, в частности свои автобиографические записки» [1].

Когда же сжег Пушкин в действительности свои «Записки»? И верно ли, что от них, как думали до последнего времени, случайно сохранился только один листок (точнее, обрывок листа) с датой 19 ноября 1824 года и отрывок, посвященный выходу в свет «Истории» Карамзина?

«Записки» свои Пушкин уничтожил (как сам он указывает в предисловии к новым «Запискам», которые начал через несколько лет) после получения известия о раз-

---

[1] Д. Благой. Пушкин в 1826 году. Сб. «А. С. Пушкин». Изд-во АН СССР, 1951, стр. 160.

громе восстания 14 декабря, «в конце 1825 года, при открытии несчастного заговора»[1]. О восстании 14 декабря поэт узнал на третий или четвертый день и с этого дня ожидал ареста. «Все-таки я от жандарма еще не ушел»[2],— писал он Жуковскому месяц спустя, 20 января 1826 года. Рассказ же о том, будто Пушкин бросил в огонь свои «Записки» в самый момент приезда за ним фельдъегеря, опровергается уже тем, что 14 августа 1826 года, то есть за полмесяца до того, как за ним наконец приехали, поэт сообщал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов». Какие именно листы имел он в виду, постараемся выяснить далее.

О том, что Пушкин имел время заранее подготовиться к приезду жандарма, свидетельствует даже внешний вид его сохранившихся черновых тетрадей. В числе немногочисленных замечаний, касающихся «Записок» поэта, можно отыскать в литературе — и отметить как верное — указание Н. Лернера: «В черновых тетрадях Пушкина встречается немало вырванных страниц; в числе их, вероятно, были черновики тех воспоминаний, которые Пушкин переписывал набело в 1825 году; сжегши беловую рукопись и боясь тщательного обыска, он не пожалел и черновых листов»[3].

Сжигая «Записки», Пушкин уничтожал их с разбором. Всякий, кто видел его черновые тетради, знает, что листы из них он вырывал не подряд, сохраняя, где можно, отдельные страницы и даже части страниц, которыми дорожил. В одной из таких тетрадей уцелели, например, страницы, относящиеся к его «Запискам» и посвященные характеристике Петра I и Екатерины II.

Автобиографические записки поэт уничтожил не целиком, поскольку вовсе не был поставлен в необходимость бросить их в огонь внезапно, в момент появления в Михайловском фельдъегеря. Вспомним историю ареста Якушкина и судьбу бумаг Грибоедова, и возможность сохранения Пушкиным страниц своих запретных «Записок» перестанет казаться нам всего только маловероятной счастливой случайностью.

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 521.

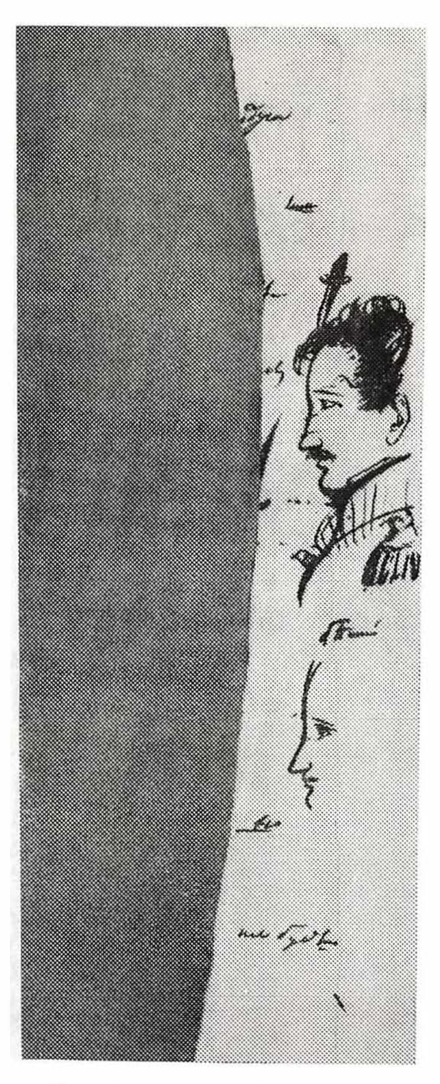
[2] Там же, т. X, стр. 198.

[3] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. П.— М., 1923, стр. 107.

* * *

Якушкин ожидал ареста в Москве. Московский полицмейстер явился за ним 10 января 1826 года, то есть почти через месяц после разгрома восстания. «Он требовал от меня моих бумаг,— говорит в своих «Записках» Якушкин.— Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли бы быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь» [1].

Однако Якушкин не сжег их, хотя действительно «имел время их сжечь». Бумаги, находившиеся в его смоленском имении, доставлены были раньше, чем там произведен был обыск, в подмосковную усадьбу, принадлежавшую матери его жены, «которая, зная их опасную важность, хранила их под полом своего кабинета, чтобы передать их отцу, когда он вернется из ссылки»,



Декабрист Лунин. Над профилем его Пушкин изобразил кинжал — эмблему цареубийства.

Рисунок Пушкина (сохраненный поэтом остаток уничтоженного им листа).

[1] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд-во АН СССР, 1951, стр. 61.

1824 Ноябр. 19 Михайл.

Вышедъ изъ Лицея я тотчасъ почти
уѣхалъ въ псковскую деревню моей матери —
помню какъ обрадовался сельской жизни,
русской бане, клубнике и проч. но все это
нравилось мнѣ не долго. Я любилъ и
донынѣ люблю шумъ и толпу и согла-
сенъ съ Вольтеромъ въ томъ
деревня est le premier.

Уцелевший обрывок беловой рукописи сожженных «Записок» Пушкина.

рассказывает сын декабриста Е. И. Якушкин. И только «незадолго до смерти, боясь, что бумаги эти попадут кому-нибудь в руки, она сожгла их» [1]. Таким образом, бумаги Якушкина, вопреки сделанному им при аресте заявлению, были спрятаны.

Приказ об аресте Грибоедова был 22 января 1826 года доставлен в крепость Грозную, где остановился на походе Ермолов с сопровождавшими его лицами, в числе которых находился Грибоедов. «По воле государя императора,— писал военный министр Ермолову,— покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел возможности к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству» [2]. На следующий же день Ермолов секретно донес об исполнении высочайшего повеления. «Он взят таким образом,— сообщал он о Грибоедове,— что не мог истребить находящихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю» [3].

В действительности же знавший о замыслах декабристов Ермолов, «желая спасти себя, спас Грибоедова»: он, узнав о готовящемся аресте Грибоедова, «предварил его за два часа», о чем рассказывал впоследствии Пушкин Александру Тургеневу (записавшему рассказ поэта в своем дневнике) [4]. «Ермолов,— сообщает в своих записках Денис Давыдов,— желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде» [5]. И потому при аресте Грибоедова в чемодане, который он вез с со-

---

[1] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд-во АН СССР, 1951, стр. 483—484.

[2] П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы. Сб. «Декабристы». М. — Л., Госиздат, 1926, стр. 104.

[3] Там же, стр. 106.

[4] Из дневника А. И. Тургенева. См.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М. — Л., Госиздат, 1928, стр. 285.

[5] «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные». Лондон — Брюссель, 1863, стр. 44—45.

бой, найдена была только рукопись «Горя от ума». На вопрос же, нет ли еще каких бумаг, Грибоедов отвечал, что больше бvмаг у него нет.

* * *

За Пушкиным фельдъегерь послан был только восемь месяцев спустя после восстания, когда следствие по делу декабристов было закончено и приговор приведен в исполнение. Но фельдъегерь этот, посланный с предписанием сопровождать поэта «не в виде арестанта» в Москву, задержан был губернатором в Пскове и потому в Михайловское за Пушкиным вообще не приезжал.

«Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего,— писал Пушкину 3 сентября 1826 года псковский губернатор барон фон Адеркас.— Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне» [1]. Это письмо губернатора послано было Пушкину в Михайловское с нарочным вместе с копией предписания, в котором говорилось: «г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества» [2].

Нарочный, посланный в Михайловское с этим предписанием и письмом губернатора, Пушкина не застал: поэт находился в этот день у соседей в Тригорском и задержался там до позднего вечера.

«Погода стояла прекрасная,— вспоминала много лет спустя одна из младших дочерей владелицы Тригорского, М. И. Осипова.— Мы долго гуляли, Пушкин был особенно весел. Часу в одиннадцатом сестры и я проводили Пушкина по дороге в Михайловское. Вдруг рано на рассвете является к нам Арина Родионовна... Из расспроса ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича, в Михайловское прискакал какой-то — не то офицер, не то солдат. Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел взять только деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было.

«Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с со-

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII, стр. 293.

[2] Там же.

бой?» — «Нет, родные, никаких бумаг не взял,— отвечала на расспросы старая няня Пушкина.— И ничего в доме не ворошил. После того я сама кое-что поуничтожила».— «Что такое?» — «Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеич кушать любил, а я-то терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого, такой скверный» [1].

Рассказ М. И. Осиповой о памятных для всей семьи друзей поэта событиях 3—4 сентября 1826 года, как и запомнившийся ей с детства простодушный рассказ няни, в слезах прибежавшей на рассвете в Тригорское, по-видимому, верно передают обстоятельства отъезда Пушкина из Михайловского.

В момент приезда нарочного Пушкина в Михайловском не было. И он уже по одному этому не мог, услышав о приезде фельдъегеря, «тотчас схватить свои бумаги и бросить их в печь». Обыск в Михайловском также произведен не был: нарочный не был уполномочен на производство его. Поэтому он, как верно рассказала няня, «никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил».

Пушкин располагал в Михайловском временем, достаточным для того, чтобы разобрать свои «Записки» и сохранить из них все, что считал возможным. 14 августа 1826 года, как было сказано, он писал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя». Но что же это за листы? Говорит ли Пушкин в письме к Вяземскому только о страницах, посвященных Карамзину, и являлся ли этот отрывок «Записок» единственным сохраненным поэтом?

Пушкин напечатал его в 1828 году анонимно, исключив места, которые не могли быть пропущены николаевской цензурой, и сопроводив пояснением: «Извлечено из неизданных записок». Но, сжигая «Записки», Пушкин сохранил, как постараемся показать, и другие отрывки из них, в том числе отрывки политически опасного содержания. Сохранил, но умолчал об этом. Где же могут скрываться в таком случае эти отрывки?

Спрятать рукопись или отдельные части ее можно, конечно, по-разному. И не только зашифровав ее, как зашифрована была Пушкиным десятая, «декабристская» глава «Евгения Онегина», или зарыв ее в землю, как за-

[1] М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. «С.-петербургские ведомости», 1866, № 163, 17 июня.

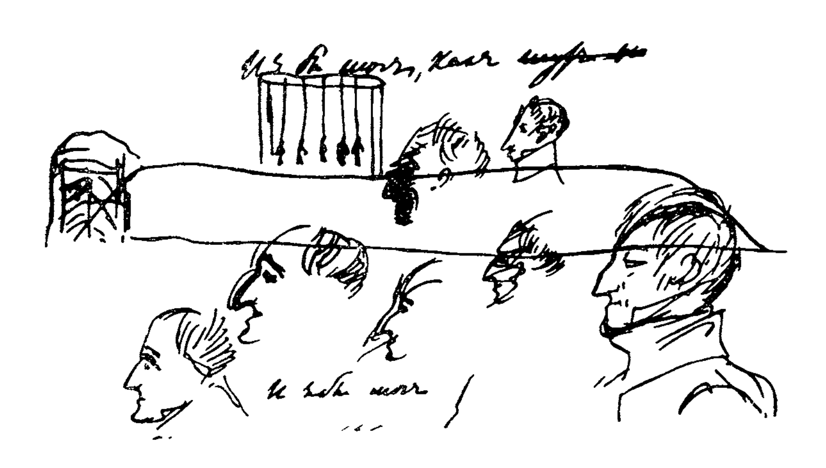
рыта была «Русская правда». До нас дошло свидетельство декабриста Якушкина о том, что «Никита Михайлович Муравьев задумал... составить подробные записки о Тайном обществе, и, чтобы они не попались в руки правительства, он писал их в форме отдельных заметок на полях книг. Библиотека Никиты Муравьева досталась его брату Александру, который собрал из книг заметки брата и назвал их «Мои записки».

Никита Муравьев, как видим, скрыл свои записки, разобщив их с этой целью на отдельные заметки. Сходным образом мог поступить Пушкин и с сохраненными им отрывками своих сожженных «Записок». Где же можно искать указаний на судьбу этих сохраненных отрывков? Прежде всего, конечно, в бумагах самого поэта.

Вспомним, что листок с зашифрованными строками десятой главы «Онегина» скрывался много десятилетий именно среди бумаг Пушкина; но содержание его оставалось нераскрытым, несмотря на то что он побывал в руках жандармов, которые чрезвычайно интересовались рукописями Пушкина и поставили даже на этом листке свой регистрационный номер. Не было раскрыто содержание его и исследователями Пушкина вплоть до 1910 года, когда листок этот был наконец расшифрован П. О. Морозовым.

К числу недавно опубликованных и недостаточно изученных ранее пушкинских текстов относится черновик записки «О народном воспитании», написанный в ноябре 1826 года. Пушкин трижды ссылается в этом черновике на свои будто бы полностью сожженные им годом раньше автобиографические «Записки». Ссылается и неожиданно использует сохраненный отрывок их для своей новой работы. Ясно читающиеся в черновике записки «О народном воспитании» слова поэта показывают, что сохраненные им страницы сожженных «Записок» говорили о царствовании Александра I и о развитии в то время в русском обществе революционных идей. Сохранение Пушкиным этих запретных страниц подтверждает, что «Записки» были сожжены им после 14 декабря не целиком.

Но прежде, чем искать в пушкинском литературном наследстве какие-либо политически опасные для поэта и тем не менее сохраненные им отрывки «Записок», следует подумать о том, что наряду с запретными страница-



На этом листе Пушкин дважды нарисовал виселицу с пятью повешенными декабристами и дважды написал: «И я бы мог...» 1826 год. *(Фрагмент).*

ми в его «Записках» должны были, конечно, содержаться и страницы, которые могли быть опубликованы Пушкиным. Дошедшая до нас программа возобновления сожженных автобиографических «Записок», составленная им в начале 30-х годов, показывает, что в состав их входили, например, портреты предков поэта и портреты современников, не подпадавшие под цензурный запрет. И потому он не имел никакой нужды скрывать многие страницы своей биографии.

В состав политически запретной части «Онегина» входила, как мы знаем, кроме «декабристской», десятой главы романа еще одна глава, которая была уничтожена Пушкиным потому, что она заключала в себе смелое описание аракчеевских военных поселений. Но, уничтожая эту запретную главу «Онегина», Пушкин сохранил из нее строфы, которые не представляли опасности и могли даже увидеть свет при жизни поэта: Пушкин сам напечатал их в приложении к своему роману в качестве «Отрывков из Путешествия Онегина».

Нет поэтому ничего невозможного в том, что еще до сожжения своих «Записок» Пушкин мог готовить к печати — и даже печатать — отдельные, не представлявшие опасности отрывки их. Так оно — постараемся показать — и было в действительности.

* * *

Где же можно искать эти сохраненные Пушкиным страницы? Да всюду, то есть почти во всех томах собрания его сочинений, потому что Пушкин, как увидим, печатал отрывки своих «Записок», не указывая на действительное происхождение их или же приобщая их в качестве приложения к другим своим произведениям.

Нам едва ли пришло бы в голову, например, искать уцелевшие отрывки «Записок» поэта в тех томах его сочинений, где печатаются стихотворения и поэмы. Но искать их там, оказывается, нужно. Говорит нам об этом письмо самого Пушкина.

Давая указания о подготовке к печати собрания своих стихотворений, Пушкин 27 марта 1825 года писал брату: «Не напечатать ли в конце *Воспоминания в Царском Селе* с Noto'й (то есть с примечанием.— *И. Ф.*), что они писаны мною 14-ти лет,— и с выпискою из моих Записок (об Державине), ась?» [1]

Отказавшись в 1825 году от намерения напечатать в сборнике своих стихов «Воспоминания в Царском Селе», Пушкин не смог напечатать в качестве приложения к этому стихотворению и «выписку» из своих «Записок» «об Державине» («Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее...»). Посвященный Державину отрывок остался в бумагах Пушкина и дошел до нас (может быть, в более поздней редакции, так как поэт позднее вновь вернулся к нему). Но возникшей у него в 1825 году мыслью о возможности печатать отрывки из «Записок» в виде приложения к своим стихотворениям Пушкин все же воспользовался.

Еще раньше, чем он задумал напечатать в качестве приложения к стихотворным «Воспоминаниям в Царском Селе» отрывок «об Державине», Пушкин опубликовал другой отрывок из своих «Записок» — под видом примечания к первой главе «Евгения Онегина», вышедшей в свет в феврале 1825 года. Среди примечаний, которыми Пушкин сопроводил первое издание этой главы «Онегина», резко выделяется законченный рассказ поэта о своем

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X, стр. 134.

Державина видѣлъ я только
однажды въ жизни, но ни-
когда того не позабуду. Это было
въ 1815 год., на публичномъ
экзаменѣ въ Лицеѣ. Как
10.
узнали мы, что Державинъ
будетъ къ намъ, всѣ мы
взволновались. Дельвигъ вышелъ
на лѣстницу, чтобъ дождаться
его и поцѣловать ему руку,
руку написавшую Водопадъ.
Державинъ пріѣхалъ — онъ
вошелъ въ сѣни и Дельвигъ
услышалъ какъ онъ спросилъ

Страница «Записок» Пушкина («Державина видел я только однажды...»)

прадеде Абраме Петровиче Ганнибале, начинающийся словами: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского».

В заключение этого рассказа Пушкин говорит: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию» [1].

Показать, что эти страницы об А. П. Ганнибале являются сохранившимся отрывком сожженных «Записок» Пушкина, не трудно, поскольку, приступив в 30-е годы к возобновлению их, поэт повторил в начале новой автобиографии свой рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале (с некоторыми, главным образом стилистическими, отличиями). Таким образом, еще до того, как он вынужден был сжечь свои «Записки», Пушкин напечатал отрывок из них, посвященный Ганнибалу, под видом примечания к первой главе «Онегина».

Пушкин сам помог нам обнаружить этот отрывок, высказав в письме к брату мысль о возможности печатать страницы «Записок» в качестве приложения к собственным стихам. Поэт сам подсказывает нам также мысль о возможности обнаружить отрывки «Записок» среди страниц, напечатанных под видом его писем.

Совет писать автобиографические записки «в виде писем» Пушкин высказал в письме к Нащокину. «Что твои мемории? — писал он ему 2 декабря 1832 года.— Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь — и другой» [2]. Нащокин последовал совету Пушкина, и в бумагах поэта сохранилось «письмо», представляющее собой не что иное, как отредактированное Пушкиным начало автобиографических записок Нащокина.

Мысль о возможности писать — или печатать — автобиографические записки «в виде писем» (точнее,— под видом писем) Пушкин не только высказал, но и сам осуществил. Под видом письма он напечатал в «Северных

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. V, стр. 512—513.

[2] Там же, т. X, стр. 423.

цветах» на 1826 год» страницы своих «Записок», посвященные воспоминаниям о Крыме.

В заключительном абзаце этого мнимого письма поэт прямо указывал, что страницы его представляют собой воспоминания о прошлом. «Растолкуй мне теперь,— писал он,— почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?.. Или воспоминание — самая сильная способность души нашей?» Риторическое обращение к предполагаемому адресату не могло, конечно, превратить в письмо этот отрывок пушкинских «Записок», как не становится письмом глава романа, даже если автор начинает свое повествование обращением к «любезному читателю».

* * *

Страницы «Записок» Пушкина, посвященные Карамзину, оторваны были поэтом от других, не дошедших до нас листов его рукописи. Пушкин вспоминает в этом отрывке об опасной болезни, которую он перенес весной 1818 года: «Семья моя была в отчаяньи; но через шесть недель я выздоровел». Рассказав, как он «с жадностию и со вниманием» прочел в своей постели только что появившуюся «Историю Государства Российского», Пушкин вспоминает о том, каким событием явился выход в свет этой книги Карамзина:

«3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили»[1].

Печатая свой рассказ в «Северных цветах» на 1828 год» с указанием: «Извлечено из неизданных записок», Пушкин должен был сократить его из-за цензуры и отбросить тот листок своих «Записок», где он говорил о своих политических спорах с Карамзиным. («Однажды,— вспоминал здесь Пушкин,— начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал:

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 66—67.

«Итак, вы рабство предпочитаете свободе»[1]. «Любимые парадоксы» Карамзина, против которых так резко спорил поэт, заключались в признании необходимости сохранения в России самодержавия и крепостного права.

В рукописи своих «Записок» Пушкин, кроме того, заметил: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм»[2],— подразумевая, вероятно, известную эпиграмму на Карамзина:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Нет надобности доказывать, что автор «Бориса Годунова» смотрел на историю России иначе, чем Карамзин. «Читая его труд,— говорил позже Пушкин Ермолову,— я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное»[3].

Но, резко расходясь с Карамзиным и вспоминая свои споры с ним, Пушкин назвал его исторический труд «созданием великого писателя». И это требует, конечно, объяснения.

В своем историческом труде, указывает Пушкин, Карамзин «везде ссылается на источники». И не только ссылается, но и широко обнародовал эти источники. А «верный рассказ событий», по словам Пушкина, «красноречиво опровергал» сопровождающие его «размышления» Карамзина «в пользу самодержавия».

Выступая в своих «Записках» как противник самодержавия, Пушкин считал, что «История» Карамзина не только открывала читателям «древнюю Россию», «дотоле им неизвестную», но и — вопреки реакционной политической тенденции историографа — свидетельствовала языком событий против исторической необходимости сохранения самодержавия в России.

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 66—67.

[2] См. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 9 томах, т. IX. «Academia», 1937, стр. 75 (комментарий).

[3] «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные». Лондон — Брюссель, 1863, стр. 34.

* * *

До нас дошел также переписанный Пушкиным набело отрывок, датированный 2 августа 1822 года. В рукописи он не озаглавлен, рукой Пушкина над ним выставлено только: «№ 1». Между тем перед нами тщательно обработанные и переписанные набело страницы «Записок» поэта.

Это казалось очевидным при первых публикациях отрывка. В «Библиографических записках», где он сто лет назад впервые увидел свет, эти страницы Пушкина верно названы были «отрывком, сохранившимся из его прежних записок». С годами, однако, понимание действительного характера пушкинского отрывка было утрачено.

Эти страницы не получили в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря, известности, какую приобрели направленные против самодержавия и широко распространявшиеся декабристами стихи поэта. Между тем этот отрывок «Записок» Пушкина говорил о недавнем прошлом России, для того чтоб дать ответ на еще не решенные вопросы современности и исторически обосновать необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права. Страницы пушкинского отрывка охватывают «императорский» период русской истории, начиная с Петра I, а в конце отрывка появляется Павел I и речь идет уже об Александре I, воцарившемся после убийства Павла. Нетрудно догадаться, что содержанием последующих страниц должен был явиться очерк царствования и характеристика Александра I.

«Сто лет от Петра Великого до Александра I,— писал декабрист Штейнгель,— столько содержат в себе поучительных событий к утверждению в том, что называется свободомыслием!» [1] Этому именно столетию, точнее — политическому обозрению его, и посвящен рассматриваемый нами отрывок «Записок» поэта. Средством, к которому Пушкин прибегает здесь для достижения своей цели, является создание резких исторических портретов Петра I, Екатерины II и их преемников.

Петра I Пушкин называет, в отличие от его «ничтожных наследников», «сильным человеком», «исполином».

---

[1] В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПБ, 1909, стр. 219.



Чаадаев.
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина».

Но вместе с тем пишет о нем: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». Стремясь определить, кем был Петр, Пушкин в черновике написал сперва: «После... смерти деспота...» — а потом: «После смерти великого человека...» Строки эти показывают, как ясно видел Пушкин — уже в 1822 году! — двойственность, противоречивость исторической деятельности Петра.

«По смерти Петра I,— пишет он,— движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр... Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе...» «Доказательства тому,— поясняет Пушкин,— царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы» [1].

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 121—122.

...«Царствование Екатерины II,— пишет Пушкин,— имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве...



Генерал Н. Н. Раевский-старший, герой Отечественной войны 1812 года, «Свидетель Екатерининского века». *Рисунок Пушкина.*

...Екатерина уничтожила звание (справедливее — название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского («домашний палач кроткой Екатерины», поясняет Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность» [1]. Перед нами сатирический портрет Екатерины, которую Пушкин называет в заключение «Тартюфом в юбке и в короне».

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 123—125.

«Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»,— иронически замечает далее Пушкин, вспоминая насильственную смерть императоров Петра III и Павла.

Важнейшим вопросом, рассматриваемым в этом отрывке «Записок» поэта, являлся вопрос об освобождении крестьян. Подобно многим декабристам, Пушкин надеялся, что «закоренелое рабство» может быть уничтожено в России без «страшного потрясения», то есть без «бунта от мужиков», о котором думал Радищев.

Пушкин «всегда согласно со мною мыслил о деле общем... по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой» [1],— писал в своих воспоминаниях декабрист И. И. Пущин. Строки эти принадлежат ближайшему другу поэта, не бросавшему слов на ветер и всегда точному в своих воспоминаниях о нем.

Декабристская проза Пушкина почти не дошла до нас: бóльшая часть страниц ее погибла. Важнейшим из сохранившихся отрывков ее мы должны признать историческое вступление к «Запискам» поэта (отрывок «№ 1»), печатавшееся впоследствии в собраниях сочинений Пушкина под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века».

* * *

Еще до восстания 14 декабря, в михайловской ссылке Пушкин написал свой «Воображаемый разговор с Александром I», где император говорит Пушкину: «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?» А оканчивается этот «воображаемый разговор» неожиданно — словами Александра I: «...тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь...» [2]

После казни декабристов между вызванным из ссылки поэтом и новым царем состоялся действительный, а не воображаемый разговор.

Хотя Николай сказал в этот день приближенным, что

---

[1] «Записки И. И. Пущина о Пушкине». СПб, 1907, стр. 45.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X, стр. 71.

он «нынче долго говорил с умнейшим человеком в России», пояснив, что имеет в виду Пушкина, он добавил все же, что с поэтом «нельзя быть милостивым»[1]. Это замечание вызвано было, конечно, независимым поведением Пушкина во время данной ему аудиенции.



В. Ф. Раевский — «первый декабрист».
Рисунок Пушкина.

В своей записке «О народном воспитании» Пушкин воспользовался предоставленной ему возможностью продолжить разговор с царем и высказать ему многое из того, что нельзя было высказать в печати. С той же смелостью несколько лет спустя Пушкин послал царю «замечания», которые не могли войти в «Историю Пугачева»; в них он писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства»[2].

Так же смело писали из крепости Николаю в 1826 году некоторые декабристы, несмотря на то что их ждала петля или каторга. В своих письмах из крепости они высказали новому царю очень многое из того, о чем говорили и писали, подготавливая вооруженное восстание против самодержавия.

Смысл этих их обращений исторически понятен. Революции, совершаемой народом, декабристы страшились. Революция без участия народа — вооруженное восстание 14 декабря — не удалась; вожди ее были обречены на гибель.

---

[1] См. «Русский архив», 1865, стр. 96, и «Русская старина», 1874, стр. 691.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 357.

Но вот перед ними неожиданно блеснула как будто новая надежда — надежда на «революцию сверху», которую обещает и может будто бы совершить новый царь, подобно тому, как совершил век назад — по представлению многих декабристов и Пушкина — «революцию сверху» Петр I. В этом смысл так странно звучащих для нас теперь слов, которыми окончил Александр Бестужев написанное им в крепости письмо Николаю I: «Я уверен, что небо даровало в вас другого Петра Великого...» [1] В этом же, как указывают исследователи Пушкина, заключался смысл обращенных к новому царю «Стансов» поэта:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Потребовалось не так уж много времени для того, чтобы понять, чем кончились надежды, которые возбудил новый царь. 21 мая 1834 года Пушкин записал в дневнике: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» [2].

Но чтобы понять это, понадобилось все-таки несколько лет. Тогда же, в 1826 году, на другой день после разгрома восстания, декабристы, в надежде на реформы, обещанные царем, стремились высказать ему в своих письмах из крепости все, что могло бы, на их взгляд, помочь новому царю совершить необходимое преобразование России.

В письмах этих дан резкий критический очерк состояния, в которое страна приведена была Александром I и его предшественниками. В этих письмах дается резкая характеристика только что закончившегося царствования и объяснение причин возникновения «свободомыслия в России». Некоторые из таких посланных декабристами царю писем являлись выдающимися очерками истории своего времени. Таковы были письма из крепости Александра Бестужева и Каховского.

---

[1] «Из писем и показаний декабристов». СПБ, 1906, стр. 44.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 52 и 562.

Выдающимся образцом подобного рода публицистической прозы являлась и адресованная царю пушкинская записка «О народном воспитании». В связи со сказанным понятным становится, почему, объясняя в ней причины восстания 14 декабря, Пушкин счел нужным в первой, исторической части своей адресованной царю записки использовать сохраненный отрывок своих прежних запретных «Записок».

В черновике своей новой записки Пушкин, как сказано, трижды ссылается на свои прежние «Записки» и использует для новой работы ту главу их, в которой он писал о переменах, совершившихся в русском обществе после Отечественной войны 1812 года.

«15 лет тому назад (то есть накануне войны 1812 года.— *И. Ф.*) литература (тогда столь свободная, впоследствии столь угнетенная),— писал теперь Пушкин царю,— не имела никакого направления...

Молодые люди занимались военной службой и старались отличиться французскими стишками и шалостями» (в одном из вариантов было сказано: «занимались службой и женщинами»).

«10 лет после мы видели разговоры исключительно политические, революционные идеи... литературу, подавленную беспощадной цензурой, превращенную в рукописные пасквили и возмутительные песни — и тайные общества...» [1]

Второе использованное Пушкиным в его новой записке место, взятое из его прежних «Записок», касалось вопроса об уничтожении в России введенных Петром I чинов и уничтожении экзаменов на чин, установленных Александром I. Указ об этих экзаменах Пушкин считал «мерой ошибочной». «А так как в России все продажно,— замечает здесь Пушкин с резкостью, свойственной его прежним «Запискам»,— то и экзамен сделался новою отраслью промышленности для профессоров». И поясняет: «Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною» [2].

Под видом критики укоренившегося дворянского вос-

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XI, стр. 312 (черновик).

[2] Там же, стр. 45.



Страница рабочей тетради поэта. *(Фрагмент)*. Вверху автопортрет Пушкина в костюме времен Французской революции (в черновике его стихов о французской революции 1789 года).

питания Пушкин, вновь ссылаясь на свои прежние «Записки», резкими чертами рисует далее внутренний строй современной ему России.

«В России,— пишет он,— домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры («одни примеры гнусного рабства»,— было сказано в черновике), своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести»[1].

Использованная в адресованной царю записке «О народном воспитании» глава автобиографических «Записок» Пушкина представляла собой, по-видимому, смелый очерк царствования Александра I и касалась причин, обусловивших развитие в эту пору в России освободительных и революционных идей. Изучение вопроса о «Записках» Пушкина в связи с записками декабристов проливает свет не только на судьбу, но и на содержание сожженных «Записок» поэта.

* * *

Касаясь того периода жизни и творчества Пушкина, к которому относится его работа над «Записками», первый биограф поэта Анненков, изучив век назад его черновые тетради, заметил, что «тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821—1824 годов. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь всю жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера...»[2] Едва ли к какому-либо другому произведению Пушкина могут быть отнесены эти строки с бо́льшим основанием, чем к автобиографическим «Запискам» поэта.

В черновых тетрадях Пушкина сохранились выразительные рисунки. Поэт рисовал себя среди профилей де-

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XI, стр. 44.

[2] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПБ, 1874, стр. 165.

кабристов, в окружении портретов Пестеля и Рылеева. Рисовал Михаила Орлова и Лунина и своих ближайших друзей — декабристов Пущина и Кюхельбекера. Открытое признание, сделанное Пушкиным в предисловии к начатым им в 30-е годы новым «Запискам», ясно свидетельствует, что поэт изобразил декабристов не только в зашифрованных им стихах десятой главы «Онегина». В своих сожженных «Записках» — в те же годы, когда Грибоедов писал «Горе от ума»,— Пушкин создал портреты будущих участников Декабрьского восстания, о которых писал, по собственным словам, «с откровенностию дружбы или короткого знакомства» и которые стали потом «историческими лицами». В автобиографических «Записках» Пушкин запечатлел революционеров своего времени — лучших людей из дворян, как назвал век спустя декабристов Владимир Ильич Ленин.

Созданные Пушкиным портреты декабристов не дошли до нас. Это одна из великих утрат, понесенных русской литературой в борьбе с самодержавием. Портреты эти были обречены на гибель, как обречены были самодержавием на гибель сами декабристы.

Изучая судьбу его автобиографического труда, мы видим, что в состав сожженных «Записок» входили страницы, посвященные истории поколения, к которому принадлежал поэт, и отражавшие былое и думы Пушкина. Великий поэт создавал книгу, которой можно было бы дать название «Пушкин и его время». Уцелевшие страницы ее представляют собой разобщенные части погибшего, незавершенного, но все же дошедшего до нас в отрывках великого произведения Пушкина.

Если мы вспомним о судьбе «Русской правды» и о судьбе «Конституции» Никиты Муравьева, то есть о судьбе основных памятников декабристской политической литературы, если мы вспомним о судьбе сожженной десятой главы «Онегина», опасные строки которой были зашифрованы рукой Пушкина и сохранились, станет ясно, что удивлять нас должно не то, что Пушкин мог, точнее — должен был сохранить, и сохранил действительно, отрывки своих сожженных «Записок». Удивительней, что нам известно из них сравнительно не многое.

Расшифрованный только в XX веке листок десятой главы «Онегина» не всегда был единственным — он является только единственным дошедшим до нас листком.

«Несомненно, должны были существовать еще три-четыре таких же листка»,— утверждает исследователь «Онегина» С. Бонди. Мнение это разделяли и другие исследователи. Не исключено поэтому, что недостающие листки, содержащие остальные зашифрованные Пушкиным строки десятой главы «Онегина», могут еще отыскаться.

Будем надеяться, что и неизвестные нам страницы пушкинских дневников и «Автобиографических записок» скрываются еще где-нибудь поныне и, может быть, еще обнаружатся.

1953

ОБ ОДЕ «ВОЛЬНОСТЬ»

С начала 20-х годов и особенно в середине 30-х Пушкин с настойчивостью историка собирал рассказы современников и участников цареубийства 11 марта. Но еще раньше, в оде «Вольность», облетевшей Россию, Пушкин открыто изобразил умерщвление Павла. Изобразил с исторической верностью, вспоминая Клио, то есть музу истории.

Поверх строки «Погиб увенчанный злодей» Пушкин нарисовал в рукописи своей оды профиль Павла. Перед нами историческое произведение поэта, и потому представляется нужным предпослать статью о «Вольности» очерку, в котором нами собраны данные о том, как Пушкин подготовлял позднее в своих записях задуманную им историю цареубийства 11 марта 1801 года.

1

«Вольность», ода молодого Пушкина, дошла до нас «как старое, но грозное оружие» против деспотизма — против царизма и цезаризма. Непонимание этого приводит исследователей знаменитой оды Пушкина к ошибкам.

Обстоятельства, при которых были написаны стихи «Вольности», направленные — прежде всего — против тирании царизма, рассказаны в воспоминаниях Вигеля, он пишет: «Из людей, которые были его старее, Пушкин всего чаще посещал братьев Тургеневых. Они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный (где был убит император Павел I.— *И. Ф.*), и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно, на пустой тогда, забвенью бро-

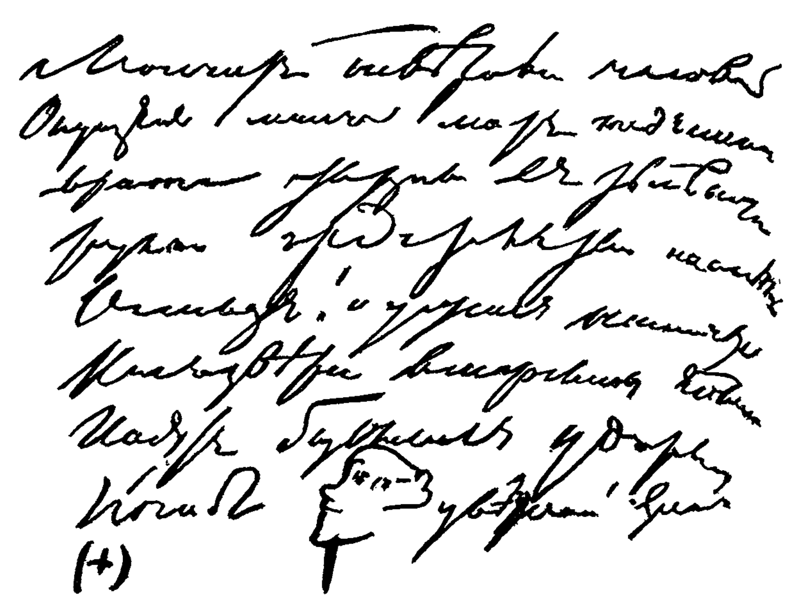


Рисунок Пушкина в рукописи оды «Вольность». В строке «Погиб увенчанный злодей» Пушкин нарисовал Павла I.

шенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа, генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротою телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать...»[1] Стихи,— по мнению Вигеля,— были «хороши, но не превосходны». Возможно, что его занимательный рассказ не во всем точен.

Но вот стихи «Вольности» «на бывший Михайловский замок». Не о них ли позднее сказал Пушкин: «тут есть три строфы очень хорошие» — в своем «Воображаемом разговоре с Александром I», сочиненном в 1824 году?

Когда на мрачную Неву 9
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,

[1] «Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. VI. М., издание «Русского архива», 1892, стр. 10.

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец,—

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

2

«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи... Я читал вашу оду *Свобода*. Она вся написана немного сбивчиво, слегка обдумано, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы, вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе» [1].

Эти слова Александра I Пушкин слышит в своем воображаемом разговоре с царем. Александр I в этом разговоре воспринимает «Вольность» как стихи, которые не затрагивают его лично, в связи с цареубийством 11 марта («нелепая клевета» — обвинение Александра в соучастии с убийцами его отца).

Но в личностях ли только было дело, когда:

...грозящий голос лиры
Тирана в ужас приводил [2].

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 69.

[2] «Не тем горжусь я, мой певец» (стихотворение, написанное Пушкиным в 1821 году).

Калигулой Пушкин назвал Павла и позднее, в «Заметках по русской истории XVIII века». Назвать Павла Калигулой было естественно. Калигула прославлен был безумной жестокостью, по-видимому, следствием психического расстройства. Как Павел, Калигула был убит гвардейцами, преторианцами.

Но только ли Павел Калигула?

Калигула (как Александр I) сам способствовал убийству своего предшественника, императора Тиверия, который, по свидетельству Тацита, был задушен. Калигула вырос в лагере, среди солдат («Воспитанный под барабаном»,— сказал об Александре I Пушкин). Прозвище свое Калигула получил от названия солдатской обуви, которую носил в детстве («венчанным солдатом» Пушкин назвал Александра I).

Вступив на престол, Калигула был желаннейшим государем, первые меры его были благие (сравни: «Дней Александровых прекрасное начало...»). Вскоре, однако, в Калигуле произошла перемена к худшему...

На «Калигулу» в «Вольности» Александр I имел основание обидеться не только за отца, но и за себя.

Разговор Александра I с Пушкиным шел, однако, не только по личному делу. Александр I, писал впоследствии Пушкин, «окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». Эти жестокие истины — декабристский аргумент против тирана — услышал Александр I в строфах «Вольности».

3

«Царствование Павла доказывает одно,— писал Пушкин в 1822 году,— что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы... Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою» [1],— добавляет он. Мысль Пушкина ясна: в стране, где нет свободы, огражденной законом, образ правления есть деспотия, при которой и против тиранов обращены «бесславные удары» — средства также преступные. А между тем традиционная в

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 127 (последняя фраза у Пушкина по-французски).

доме Романовых «удавка» заменить законность, конституцию не может. Сторонники самовластья — вот подлинные защитники «удавки». Против русских защитников самовластья Пушкин обращает и слова г-жи де Сталь, преследуемой тиранией Наполеона. «Не удивительно, что Тацит, *бич тиранов,* не нравился Наполеону,— писал Пушкин,— удивительно чистосердечие Наполеона, который в том признавался, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мертвому карателю» [1].

В «Вольности» стихам, прямо направленным против русского самовластья, Пушкин предпослал стихи о «шуме бурь недавних», о казни Людовика XVI и — о Наполеоне.

Вот начало «Вольности»:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!..

Вопрос о Наполеоне был мировым вопросом. И Пушкин, для которого он связан был с вопросом о цезаристской тирании, не мог обойти его в «Вольности», обращенной против «тиранов мира». От описания казни Людовика XVI Пушкин перешел в своей оде к стихам о Наполеоне:

И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т XII, стр. 194.

Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы.
Упрек ты богу на земле.

Наполеон для Пушкина «самовластительный злодей» не только в оде «Вольность», в оде «Наполеон» позднее Пушкин сказал о нем:

Тебя пленяло самовластье.

А между тем в той же оде на смерть Наполеона мы читаем:

Великолепная могила,
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

В первоначальных вариантах оды «Наполеон» было слово «злодей», а в окончательном тексте этой оды: «Во



Рисунки Пушкина: профили Мирабо (в середине), Данте и Наполеона (справа).

след тирану полетело, как гром, проклятие племен». Поздней, в стихах 1823 года, Наполеон у Пушкина «мятежной вольности наследник и убийца — сей хладный кровопийца».

Таким образом, несмотря на то, что отношение Пушкина к Наполеону изменялось, он оставался для Пушкина олицетворением самовластья — цезаристской тирании.

И если уже в оде на смерть Наполеона (1821) Пушкин не только назвал его тираном, но и сказал: «Угас великий человек», мы должны ответить на вопрос, как это вяжется у Пушкина с представлением о Наполеоне как о тиране (и стихами ранее написанной «Вольности», где Наполеон — «самовластительный злодей»)? Посмотрим, не поможет ли нам этот вопрос понять, как возникли стихи, посвященные Пушкиным в оде «Вольность» Наполеону.

4

«Что вслед Радищеву восславил я свободу»,— сказал Пушкин в первоначальном тексте «Памятника». Воображаемый разговор с Александром I Пушкин начинает спором об оде «Вольность», кончается же этот «Разговор» тем, что царь рассердился бы и сослал Пушкина в Сибирь, где он написал бы поэму «Ермак», размером и с рифмами (поэму «Ермак» без размера и без рифм написал в Сибири Радищев).

Пушкин демонстративно связывал свою оду с «Вольностью» Радищева. Радищев же в своей оде «Вольность», описав казнь Карла I, обращается к Кромвелю:

Великий муж, коварства полный...
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил...

Кромвель — злодей, сокрушитель свободы (как Наполеон) и вместе — «великий муж».

В своей оде «Вольность» (та же последовательность повторена в пушкинской оде «Наполеон»), описав казнь Людовика XVI и перейдя к Наполеону, Пушкин «вслед Радищеву» (то есть вслед обращению Радищева к Кромвелю) обращается к Наполеону как к «злодею» — узурпатору прав вольности (а не Бурбонов):

Самовластительный злодей!

А в своей оде на смерть Наполеона Пушкин скажет:

И обновленного народа
Ты юность буйную смирил,
Новорожденная Свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил.

Самовластье Наполеона для Пушкина цезаристский вид самовластья, как самодержавие царя его царистский вид.

5

Отношение к Наполеону как к «самовластительному злодею», полагал Б. В. Томашевский, комментируя оду «Вольность», характерно для эпохи после войны 1812 года. Объяснение совершенно недостаточное и потому неправильное. Оно не отграничивает стихи «Вольности», обращенные Пушкиным против Наполеона с позиций борьбы против тирании, всякой тирании, от враждебной Наполеону поэзии, славившей Александра I — победителя Наполеона — и самодержавие.

Трафарет этой официальной поэзии требовал перехода от обличения тирании Наполеона к прославлению его антагониста — русского царя. В стихах Жуковского говорилось, что Александр I, борясь с «самовластительством» Наполеона, «Свободе меч свой посвятил». Многочисленным у Жуковского стихам этого рода Пушкин подражал только в своих отроческих стихах...

В «Вольности» Пушкин восславил Свободу не вслед Жуковскому, а вслед Радищеву — это иная Свобода. От стихов, обращенных против Наполеона, Пушкин в своей «Вольности» перешел к стихам не во славу, а против самодержавного царя. Последовательно ли это? Александр I в «Воображаемом разговоре» упрекает Пушкина в сбивчивости. Сбивчивость эту, по-видимому, Александр I видит в том, что Пушкин обличает то Наполеона, то антагониста его — царя. Последовательность Пушкина кажется непоследовательностью царю. Пушкин отошел от официального трафарета — «сбился»: начал как должно — против Наполеона, то есть как будто во здравие его победителя, «освободителя народов» Александра I, а кончил — за упокой.

Ода, с точки зрения Александра, вообще недовольно «обдумана». Наполеон в ней злодей, это допустимо. Но

и победитель этого злодея император Александр, который «Свободе меч свой посвятил», поставлен на одну доску со злодеем. Павел I в оде Пушкина также «Увенчанный злодей». Этого говорить не полагалось (хотя жена Александра I, когда тот был еще наследником, писала своей матери о Павле I: «О мама! Это действительно тиран!»).

Но если Павел, по слову Пушкина, злодей, последовательно ли было со стороны поэта называть бесславными удары, освободившие Россию от этого «злодея»? Пушкин отказывался признать удавку «основанием нашей конституции», хотя он против деспотизма Павла. Он не солидарен ни с его убийцами, ни с пришедшим на смену Павлу тираном — Александром. Пушкин против тирании Наполеона. Но, обличая тиранию Наполеона, Пушкин не противопоставляет Александра Наполеону — оба они «тираны мира». Строки оды, обращенные против тирании Наполеона, Пушкин обратил в оружие и против царизма.

6

Для доказательства того, что стихи пушкинской «Вольности» оружие против царизма, нет поэтому никакой необходимости доказывать, как делали некоторые исследователи, что стихи пушкинской оды не были обращены против Наполеона и что Пушкин только для вида создал возможность отнесения к Наполеону строфы «Самовластительный злодей, //Тебя, твой трон я ненавижу!..» — с целью смягчить свою вину, если придется оправдываться — за оду «Вольность» — перед властями. Такое объяснение представляется наивным. Прочтите «Вольность», вычеркнув из нее стихи восьмой строфы. Остального довольно было, чтобы сослать Пушкина в Сибирь.

Образ человека, описанного в стихах восьмой строфы «Вольности», указывал Виктор Шкловский, имеет признаки, не совпадающие с Наполеоном («трон», «смерть детей», хотя трона у Наполеона уже не было, а наследник его в годы, когда была написана «Вольность», еще не умер) [1].

---

[1] См.: Виктор Шкловский. Заметки о прозе Пушкина. «Советский писатель». М., 1937, стр. 9—17.

Мы видели, что стихи «Вольности», о которых идет речь, отвечают пушкинскому образу Наполеона в период создания этой оды. Образ этот — органическое звено эволюции образа Наполеона в поэзии Пушкина. Этому образу Наполеона стихи «Вольности» отвечают, хотя хронология событий жизни Наполеона Пушкиным в оде смещена.

Спорная восьмая строфа «Вольности» («Самовластительный злодей»), если подходить к ней с буквальной меркой, не приходится по такой мерке ни к Павлу I, ни к Александру I: «Твою погибель... вижу». Но Александр I был еще жив, Павел — ужас России, а не «мира», и стихи «Читают на твоем челе печать проклятия народы,— Ты ужас мира» к нему едва ли подходят.

7

К стихам «Вольности» «И се злодейская порфира на галлах скованных лежит» в рукописи оды Пушкин написал: «Наполеонова порфира. Замечание для В. Л. Пушкина, моего дяди (родного)». Ирония этого примечания «для дяди» относится к читателям, для которых вслед за стихами оды «Водопад»:

В броне блистая златордяной,
Как вечер по заре румяной —

старик Державин, в свое время, писывал: примечание «под сим изображением подразумевается фельдмаршал Румянцов, как по своему прозвищу, так и по преклонности лет своих».

В своем примечании для дяди Василия Львовича Пушкин смеется над теми, кто считает нужным прописать по месту жительства героя, к которому обращены стихи. Пушкин иронизирует над читателями, которые требуют такой локализации, не понимая, что образ героя есть не только его изображение, но и художественное обобщение.

Обращаясь в «Вольности» к Наполеону, Пушкин подчеркивает общие, родовые черты «тиранов мира». Пушкин зарядил стихи «Вольности» такой ненавистью ко всякой тирании, что ненависти этой достало не только на тиранов, против которых была прямо обращена его двуострая ода: ненависти этой достало и на будущих царей.

* * *

«Семейным портретом», который в свое время применялся в криминалистике, называется портрет всех членов преступной семьи, снятый на одну пластинку. Такой портрет буквально не похож ни на одного из преступников, зато он выразительнее выявляет общие всем им преступные черты.

В оде «Вольность» дан «семейный портрет» не двух только Романовых. Неплодотворно ставить вопрос: царь или Наполеон? Ода Пушкина была обращена против обоих. Тираны умирали. Как Тацит — бич тиранов, Пушкин оставался их карателем.

1937

ИЗ «ДНЕВНИКА» ПУШКИНА

До нас дошел так называемый «Дневник» Пушкина — тетрадь большого формата, заключенная в переплет, замыкающийся стальным замком, и содержащая записи, которые Пушкин день за днем заносил в нее в 1833—1835 годах, датируя каждую запись. Эти записи Пушкина касаются не только текущей светской и придворной жизни Петербурга, но и минувших — хотя недавних — исторических событий. «Бросается в глаза»,— верно заметил в свое время Д. Якубович, что «Дневник» Пушкина «настойчиво отмечает явления, связанные с двумя попрежнему интересующими поэта датами. Одна из этих дат — 11 марта — убийство Павла. Вторая — 14 декабря» [1].

СМЕРТЬ ПАВЛА

С поразившей современников смелостью Пушкин изобразил смерть Павла в строфах «Вольности». «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»,— заметил он позже, продолжая с настойчивостью историка собирать рассказы участников цареубийства 11 марта 1801 года, которое собирался, судя по всему, изобразить в задуманной им Истории Александра I.

В течение первых дней после убийства Павла заговорщики открыто хвастали своим участием в нем, вспоминали современники. Но вскоре Александр, возведенный на престол заговорщиками, подверг их опале.

---

[1] Д. Якубович. Дневник Пушкина. Сб. «Пушкин. 1834 год». Л., 1934, стр. 39.



Павел I.
Рисунок Пушкина.

Рассказы об 11 марта оказались под запретом, и самодержавная власть начала охоту за мемуарами участников заговора. «Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки, и по смерти лица покупает их дорогой ценой у наследников» или попросту изымает,— сообщал декабрист Волконский, вспоминая судьбу записок и бумаг Бенигсена и Платона Зубова — виднейших участников убийства Павла [1].

* * *

Изучая краткие записи Пушкина об 11 марта, нельзя не удивиться исторической осведомленности его. Но многое Пушкин записывал сокращенным, часто лишь для него самого понятным образом. Поэтому сделанные им на страницах дневника исторические заметки требуют раскрытия — и, как увидим, поддаются ему.

Говоря о делаемых для памяти кратких записях, Гоголь вспоминал, что нередко Пушкин, «нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить... и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы» [2].

---

[1] С. Г. Волконский. Записки. СПБ, изд. М. С. Волконского, 1901, стр. 142.

[2] Письмо к С. Т. Аксакову от 21 декабря 1844 г. Сб. «Пушкин в воспоминаниях современников». М., Гослит, 1950, стр. 412—413.

Если бы Пушкин записал подобным способом свое неизвестное нам стихотворение, попытка восстановить содержание его не могла бы, конечно, рассчитывать на успех. Но когда речь идет об исторических записях поэта, положение меняется. Перед нами большей частью не шифр, а запись, в которой Пушкин на страницах дневника кратко фиксировал свое знакомство с источниками, говорящими об истории заговора 11 марта. И если нам удастся установить источники, о знакомстве с которыми свидетельствуют записи Пушкина, мы получим возможность раскрыть содержание кратких пушкинских записей об 11 марта.

«Говорили много о Павле I, романтическом нашем императоре»,— записал Пушкин 2 июня 1834 года в дневнике, вспоминая вечер у Карамзиной, где собрались его друзья Вяземский, Жуковский и Полетика. «Я очень люблю Полетику» [1],— добавляет Пушкин. Лишь за несколько дней до этого поэт записал его рассказы о последних годах царствования Екатерины II. Свои воспоминания о Павле I Полетика записал сам; обратившись к ним, мы узнаем, какого рода рассказы, живо рисующие обстановку последних лет павловского царствования, сообщал Полетика Пушкину и его друзьям.

«Это было в 1799 или 1800 году...— рассказывает Полетика.— Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха... Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот-ста наш Пугачев едет!» Я, обратясь к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего...» [2]

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 55.

[2] П. И. Полетика. Воспоминания. «Русский архив», 1885, кн. III, стр. 319—320.

...Не менее интересны и другие рассказы Полетики, которые были опубликованы впоследствии в его записках. Но это все-таки лишь заинтересовавшие Пушкина рассказы современника, а не участника заговора 11 марта.

* * *

Размышляя о том, как могли проникнуть в зарубежную историческую литературу чрезвычайно «верные и подробные известия» об умерщвлении Павла, близко знавшая Пушкина А. О. Смирнова писала в 1845 году: «Граф Ланжерон тоже способствовал разглашению этих ужасных подробностей... Он написал воспоминания об этой эпохе» [1].

«Революционною бурею выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил век в чужой земле и дослужился у нас до высокого чина и голубой ленты» [2],— писал о Ланжероне Вигель, мастер злых характеристик и карикатурных портретов. «С тех пор, как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видно не было»,— пояснял он вдобавок. Репутация эта укрепилась за Ланжероном, и изучение отношений его с Пушкиным шло поэтому как-то по касательной: вспоминали, что граф мучил поэта чтением своих стихов и трагедий. Между тем столь нелестное представление о значении, какое имело для Пушкина знакомство с Ланжероном, надо признать поверхностным.

Поэт сблизился с Ланжероном в Одессе и встречался с ним позднее в Петербурге. Ланжерон, как отмечают более вдумчивые исследователи, был для Пушкина необычайно интересным рассказчиком. И, добавим, не только рассказчиком. Воспоминаниями об исторических событиях Ланжерон делился не только в беседах с друзьями: в эти годы он пересматривал и редактировал свои мемуары. Обращение к ним,— а они к изучению Пушкина, к сожалению, не привлекались,— открывает нам новые источники исторической осведомленности поэта.

Мемуары Ланжерона, записавшего в начале царствования Александра I воспоминания руководителей загово-

---

[1] А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., «Федерация», 1929, стр. 293.

[2] Ф. Ф. Вигель. «Керчь». Приложение к седьмой части его «Записок». М., изд. «Русского архива», 1893, стр. 41.

ра — Палена и Бенигсена, с которыми он был в самых дружеских отношениях, очутились после смерти Ланжерона в Париже. Как они попали туда, объясняет обнаруженная мною в бумагах известного собирателя исторических материалов А. И. Тургенева карандашная запись, набросанная на клочке бумаги. Тургенев сообщает в ней, что рукопись своих обширных мемуаров Ланжерон оставил французскому консулу в Одессе, который предложил вдове графа издать их. И так как согласиться на это она не решилась, мемуары были пересланы консулом в парижский архив: они стали сначала достоянием французских историков; записку «О смерти Павла I», целиком включенную Ланжероном в свои мемуары, впервые использовал Тьер в «Истории консульства и империи». В России эта записка Ланжерона смогла увидеть свет лишь после революции 1905 года. Большая же часть обширных мемуаров Ланжерона остается поныне неизданной.

Но в своей карандашной записи А. И. Тургенев сообщает, что, прежде чем мемуары Ланжерона очутились в парижском архиве, они читаны были «многими лицами в Одессе как при жизни графа Ланжерона, так и после смерти его»[1].

С Пушкиным Ланжерон был настолько откровенен, что показывал ему даже подлинные письма молодого великого князя (Александра), писанные незадолго до 11 марта. В одном из этих писем наследник Павла признавался Ланжерону: «Я Вам пишу мало и редко, потому что я под топором». Эта фраза, вспоминает Пушкин в своем дневнике 21 мая 1834 года, «меня поразила». «Ланжерон был тогда недоволен,— добавляет поэт,— и сказал мне: «Вот как он... (Александр.— *И. Ф.*) писал; он обращался со мною, как с другом, все мне поверял, зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф»[2] (офицерским шарфом задушен был Павел).

Таким образом, Ланжерон, способствовавший, по словам современников, разглашению «ужасных подробно-

---

[1] Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». СПБ, изд. А. С. Суворина, 1907, стр. 129—153.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 51—52 и стр. 561 (перевод французской фразы).

стей» смерти Павла, беседуя с Пушкиным, вспоминал с полной откровенностью о заговоре 11 марта и показывал надолго запомнившиеся поэту письма наследника. Едва ли можно сомневаться поэтому, что Ланжерон, дававший друзьям читать свои мемуары, познакомил Пушкина с вошедшими в их состав воспоминаниями Палена и Бенигсена. Обращение к его мемуарам может объяснить нам поэтому, что узнал от Ланжерона Пушкин о заговоре 11 марта.

* * *

Писать об 11 марта значило писать об Александре, перешагнувшем через труп отца. «Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление» [1],— говорит в своих воспоминаниях об Александре I монархист Греч.

Александр «окружен был убийцами его отца,— писал Пушкин в своем дневнике, вспоминая заговор 11 марта.— Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины» [2]. Этой жестокой истиной было обвинение в соучастии Александра с заговорщиками.

Записанные Ланжероном воспоминания Палена содержат достаточно ясные доказательства виновности Александра. Не решаясь встречаться с наследником, Пален обменивался с ним записками. Но однажды, рассказывает Пален, Павел увлек его в свой кабинет, едва только он успел сунуть в карман записку великого князя.

«Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе в этот день, развеселился, шутил со мною,— вспоминал Пален,— и даже осмелился залезть руками ко мне в карманы, сказав: — Я хочу посмотреть, что там такое,— может быть, любовные письма!..

— Как же выпутались вы из этого опасного положения? — спросил Ланжерон.

— А вот как,— отвечал Пален,— я сказал императо-

---

[1] И. И. Греч. Записки о моей жизни. М.— Л., «Academia», 1930, стр. 327.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 40.

ру: «Ваше величество! Что вы делаете? Оставьте! Ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан; вы перепачкаете себе руки...» Тогда он отнял руки и сказал мне: «Фи, какое свинство! Вы правы!..» Вот как я вывернулся».

За четыре дня до того, как удар был наконец нанесен, Павел спросил Палена в упор:

— Вы были здесь в 1762 году? (В этот год заговорщиками задушен был Петр III.— *И. Ф.*).

— Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос? — спросил Пален.

— Потому, что хотят повторить 1762 год...

— Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре,— отвечал Пален,— и должен делать вид, что участвую... Ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам?.. Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно...

На этом наш разговор,— рассказывал Пален,— и остановился; я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар; он заставил меня отсрочить его до 11-го дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных...» [1]

Но, как рассказывал Пален Ланжерону, Александр потребовал обещания, что, устраняя Павла, заговорщики не станут покушаться на его жизнь. «Я дал ему слово,— сказал Пален Ланжерону, пояснив: — Я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя...» По поводу этой лицемерной «щепетильности» Герцен недаром заметил, что отца Александр «позволил убить — только не до смерти».

* * *

Пален не пожелал быть, как он и сказал Ланжерону, «ни очевидцем, ни действующим лицом» при умерщвлении Павла. Только «накануне дня, назначенного для

---

[1] Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года». СПБ, 1907, стр. 129—153.

выполнения его замыслов, он открыл мне их,— сказал Бенигсен Ланжерону, тут же добавив: — Я согласился на все, что он предложил».

«В намеченный день,— продолжает Бенигсен свой рассказ,— мы все собрались к Палену; я застал там троих Зубовых, Уварова, много офицеров гвардии; все были по меньшей мере разгорячены шампанским». Когда Бенигсен привел заговорщиков к дверям императорской спальни и они ворвались в нее, Павел «забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую, без полога, кровать, на которой он спал...

Как и все другие,— говорит Бенигсен,— я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе и со шпагой в руке».

Рассказав о пререканиях, в которые Платон Зубов вступил с императором, Бенигсен не пожелал описать сцену убийства. Заговорщики, сказал он Ланжерону, «теснясь один на другого, опрокинули ширмы на лампу, стоявшую на полу, посреди комнаты, лампа потухла. Я вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого промежутка времени прекратилось существование Павла».

На этом, пишет Ланжерон, Бенигсен кончил свой рассказ. И добавляет: «Бенигсен не захотел мне больше ничего говорить, однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве...» Убийцы Павла «не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел»[1].

Обо всем этом Пушкин имел возможность узнать от Ланжерона. Но и до знакомства с ним, и после него поэт старался проверить и дополнить собранные им сведения рассказами и записками других участников убийства Павла.

* * *

«Генерал Болховской хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал)»[2], вспоминал в начале июня 1834 года

---

[1] Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года». СПБ, 1907, стр. 153.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 53.

Пушкин в «Дневнике». Своего участия в цареубийстве Болховской не скрывал. «И впоследствии,— вспоминает А. О. Смирнова,— должен был сам раскаяться в этом»[1]. В Кишиневе Пушкин однажды смутил Болховского, провозгласив при всех тост за его здоровье в годовщину 11 марта.

Когда имя Болховского произнесено было в присутствии Александра I, вспоминал начальник тайной полиции де Санглен, молодой император сказал: «Знаете ли вы, что это за человек? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: «Вот тиран!»[2]

По свидетельству современников, Болховской открыто хвалился, будто шарф его получил историческую известность, то есть рассказывал, что его шарфом задушен был Павел. Но Пушкин, которому Болховской читал когда-то свои записки, продолжал расспросы. И 8 марта 1834 года, в том же году, когда он вспоминал о Болховском и его записках, Пушкин записывает в дневнике: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон... цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта... Скарятин,— замечает здесь Пушкин,— снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I»[3]. Рассказ Скарятина, как видим, также был известен поэту.

«Уваров один из цареубийц 11-го марта»,— записывает он в тот же день. «На похоронах Уварова покойный государь (Александр I.— *И. Ф.*) следовал за гробом. Аракчеев сказал громко: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?»[4]

Своеобразным источником для истории 11 марта, вне сомнения, были записки вдовы Павла I — императрицы Марии Федоровны (которая, услышав, что Павел убит, выбежала босиком, в ночной сорочке, крича: «Я хочу царствовать!») и записки Елизаветы Алексеевны — жены Александра I. Пушкин жалел, что они уничтожены. Елизавета Алексеевна писала записки, говорит он в своем

---

[1] А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., «Федерация», 1929, стр. 293.

[2] Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года». СПб, изд. А. С. Суворина, 1907, стр. 367.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 38.

[4] Там же, стр. 39.

дневнике, «они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также,— государь сжег их по ее приказанию. Какая потеря!» [1]

* * *

Декабристы с негодованием отвергали «серальный», то есть дворцовый, переворот. Об убийстве Павла Пушкин в стихах «Вольности» сказал:

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Позднее как историк он стремился воссоздать политическую историю заговора, окончившегося простой сменой царя, а не введением в России обещанной молодым Александром «хартии», то есть конституции, ограничивающей власть самодержца.

Ни Пален, стоявший во главе заговора, ни Бенигсен, руководивший исполнением его, не уделили в своих воспоминаниях внимания этой чрезвычайно важной для Пушкина исторической стороне вопроса. Ей посвящена запись, сделанная Пушкиным на отдельном листе, под которой помечено: «Слышал от Дмитриева».

Записками Дмитриева, поэта и министра, Пушкин воспользовался в своей «Истории Пугачева» (Дмитриев присутствовал при казни его). «Записки Дмитриева содержат много любопытного,— заметил друг Пушкина Вяземский.— Но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним словесные прибавления, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу» [2]. Таким словесным прибавлением и является рассказ его, записанный Пушкиным. Вот он:

«Дмитриев предлагал императору Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию,— а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию (то есть на устранение Павла и возве-

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 31.

[2] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. IX. СПБ, 1884, стр. 36.

дение на престол Александра.— *И. Ф.*), как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор.— План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. Падение Панина произошло оттого, что он сказал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален» [1].

Пушкин знал, таким образом, о первоначальном проекте заговорщиков: не только устранить Павла, но и потребовать от Александра «хартии», ограничивающей самодержавную власть. Знал историю падения Панина, которому принадлежали и первоначальный план заговора, и мысль о конституции. Но, воспользовавшись плодами дворцового переворота, Александр обманул ожидания и не подписал обещанной «хартии».

О заговоре 11 марта Пушкин, как мы убеждаемся, знал очень многое. Он задумал кроме труда исторического написать драму «Павел». Изучение пушкинских записей и исторических материалов, с которыми он успел ознакомиться, бросает свет на замыслы, осуществить которые Пушкину не было суждено.

В ДЕНЬ КАЗНИ

До нас дошло свидетельство о том, что Пушкин предполагал написать историю своего времени. 15 сентября 1827 года, два года спустя после восстания декабристов, он сказал одному из своих близких друзей, Алексею Вульфу: «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову [2] пером Курбского». И добавил: «Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать царствование Николая и об 14-м декабря» [3].

В «Дневнике» поэта Николай I показан в минуту, когда ему доносят о только что совершенной казни декабристов.

Печатая поздней «Записки» декабриста Якушкина, Герцен счел нужным дополнить строки, посвященные в

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 106—107.

[2] То есть историю царствования Александра I.

[3] Запись А. Н. Вульфа от 16 сентября 1827 г. См. «Выдержки из дневника» и «Русская старина», 1899, март, стр. 512.



Николай I (в молодости). *Рисунок Пушкина.*

них описанию казни декабристов, рассказом Дениса Давыдова, изображающим Николая I в ночь перед казнью.

«Странный характер у нашего нынешнего государя,— писал Денис Давыдов.— Накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря он весь вечер изыскивал все способы, чтобы придать этой картине наиболее мрачный характер,— в течение ночи последовало высочайшее повеление, на основании которого приказано было барабанщикам бить во все время бой, какой употребляется при наказании солдат сквозь строй». «Какой нрав был у этого человека, еще совсем молодого в 1826 году!» [1] — замечает по этому поводу Герцен.

Образ Николая, каким он предстает в ночь перед казнью, остановил на себе внимание Льва Толстого в пору его работы над романом о декабристах. Прочитав собственноручное повеление Николая, определявшее обряд казни декабристов, и обратив особенное внимание, как и Денис Давыдов, на приказ Николая: «когда их выведут, барабанам пробить мелкую дробь»,— Толстой заметил: «Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь» [2].

Денис Давыдов изобразил в своих «Записках» ночь приговорившего к казни. Пушкин показывает Николая в день казни. «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе,— пишет Пушкин, казалось бы, бесстрастно фиксируя подробности исторического дня.— Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему

---

[1] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XX. М.— П., 1923, стр. 339 и 366.

[2] Б. Сыроечковский. Из записной книжки архивиста. «Красный архив», 1926, т. IV (XVII), стр. 178.

что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фрейлина,— записывает Пушкин,— подняла платок в память исторического дня» [1].

Рассказ Пушкина также является ключом, отпирающим «не столько историческую, сколько психологическую дверь». Рассказ этот Пушкин записал со слов фрейлины А. О. Россет (в замужестве Смирновой). Но сравните строки Пушкина с передачей того же рассказа, сделанной со слов А. О. Россет-Смирновой ее дочерью, и вы увидите, как Пушкин, не выходя, казалось бы, за пределы протокольного исторического свидетельства, немногими средствами создает выразительную историческую сцену.

«Не поддается перу, что во мне происходит, у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить...— писал Николай I накануне казни императрице-матери.— Голова моя положительно идет кругом... Завтра в три часа утра это дело должно совершиться...» [2] Николай опасался новых волнений в столице или даже вооруженного сопротивления в день казни. После того, как она совершилась, он, все еще не успокоившись, на полях присланного донесения о казни приказывал: «...на сегодня и на завтра возможно более осторожности». И велел передать шефу жандармов, «чтобы он удвоил бдительность и внимание», добавив: «Тот же приказ и по войскам».

С нетерпением ожидая в Царском Селе известия о совершившейся казни, он стоял в полдень 13 июля над прудом в Царскосельском парке. И, читаем мы у Пушкина, «бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег». Хотел ли царь отвлечься от того лихорадочного волнения, о котором писал накануне матери, не сознавал ли всей неуместности забавы, которой развлекался в час казни? Но Пушкин счел нужным показать его таким, каков он был в эту историческую минуту.

«В эту минуту,— пишет Пушкин,— слуга прибежал сказать ему что-то на ухо». В передаче О. Н. Смирновой

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 38.
[2] «Исторический вестник», 1916, июль, стр. 105.

лакей, так же как в рассказе Пушкина «прибежал» к государю. Но государь, услышав известие о казни, не бежит: это было бы неприлично. «Государь,— пишет О. Н. Смирнова,— *направился большими шагами ко дворцу»* [1]. «Царь бросил и собаку и платок и *побежал* во дворец»,— пишет Пушкин [2]. И заключает: «Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним».

У Пушкина бежит лакей, потом бежит Николай, и, наконец, за ним, не найдя его на берегу, бежит собака. Этим повторением в изображение Николая вносится сатирическая черта.

Можно добавить, что в рассказе О. Н. Смирновой Николай, расспросив курьера, доставившего известие о казни, «отправился в часовню и велел отслужить панихиду, на которой он присутствовал, а затем заперся в своем кабинете». Пушкин же кончает тем, что фрейлина подняла брошенный платок «в память исторического дня».

* * *

«Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству,— писал в своих комментариях к «Дневнику» поэта П. Е. Щеголев,— он смотрел на нее как на деталь картины, которую нарисует в будущем на основании записей «Дневника» или он сам или неведомый читатель и исследователь... Необходимо,— делал исследователь правильный вывод,— всякой записанной Пушкиным детали отыскать место в картине», поясняя: «Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой «Дневник» [3].

В то время, как Николай ожидал в Царскосельском парке, на верке Петропавловской крепости совершалась казнь. «Говорили,— вспоминает в своих записках декабрист Лорер,— что с того момента, как нас выводили из казематов, каждые четверть часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря». Ожидали помилования. «Но, увы,— курьеры мчались в Царское Село, и обрат-

---

[1] «Записки А. О. Смирновой». СПБ, 1895, ч. I, стр. 89. (Курсив наш.— *И. Ф.*)

[2] Курсив наш.— *И. Ф.*

[3] «Дневник Пушкина». Ред. Б. Л. Модзалевского. М.—П., 1923, стр. XIII—XIV.

ного никого не было...»[1]

Пушкин не мог, конечно, ограничиться в задуманной им истории своего времени изображением Николая в день казни. День, в который Пушкин услышал о казни декабристов, он отметил криптограммой, записав начальными буквами: «Услышал о смерти Р<ылеева>, П<естеля>, М<уравьева>, К<аховского>, Б<естужева>». Графической записью о казни являются рисунки поэта. Пушкин рисовал виселицу с пятью повешенными на ней декабристами и рядом с одним из этих рисунков написал: «И я бы мог...» Он знал «лютые подробности» казни, которые через несколько дней после того, как она совершилась, сообщал в одном из своих писем к жене его друг Вяземский и о которых, вне сомнения, рассказал Пушкину, возвращенному вскоре из михайловской ссылки в Москву.



Казнь декабристов. Рисунок Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г. *(Фрагмент)*.

«...О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место. Знаешь ли лютые подробности

---

[1] «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., 1931, стр. 114.

сей казни? — писал Вяземский в этом письме.— Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский, еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого возвели на вторую смерть» [1].

Рассказывали, что Рылеев, весь окровавленный, поднялся на ноги и, обратившись к Павлу Кутузову, главному распорядителю казни, сказал: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях...» На «неистовый возглас Кутузова: «Вешайте их скорее снова!» — Рылеев ответил: «Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз!» Знал ли об этом Пушкин? Да, знал, конечно. Все это (вспомним свидетельство жен декабристов — А. Г. Муравьевой и Е. И. Трубецкой) «в тот же день» «рассказывали как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова».

Вопреки лживому рапорту самого Кутузова, доносившего Николаю, что сорвавшиеся с виселицы («по неопытности наших палачей») Рылеев, Каховский и Муравьев «вскоре опять были повешены», «на вторую смерть» возвели их не «вскоре».

«Дай же палачу твои аксельбанты!» (взамен веревок),— бросил Кутузову Рылеев... «Запасных веревок не было,— вспоминал позднее начальник Петропавловского кронверка В. И. Беркопф,— их спешили достать в ближайших лавках, но было раннее утро, все было заперто, почему исполнение казни еще промедлилось...» [2]

Если мы поставим вопрос, частью какой картины должна была являться закрепленная в «Дневнике» Пушкина сцена, изображающая Николая в минуту получения известия о казни, то поймем, что сцена эта представляет собой деталь задуманной Пушкиным исторической картины, посвященной дню казни декабристов. В записках декабристов запечатлена сцена совершения казни. Герцен, мы видели, считал необходимым, изображая день 13 июля, показать Николая I в ночь перед казнью. Пушкин показал его в час казни, точнее — в минуту получения известия о ней.

---

[1] Письмо к жене от 20 июля 1826 г. «Остафьевский архив», т. V, вып. II. СПБ, 1913, стр. 54.

[2] «Русский архив», 1881, кн. II, стр. 345.

Задумав писать в истории своего времени «об 14-м декабря» (как писал он, по свидетельству Александра Тургенева, о «возмущении 1825 года» в сожженной главе «Онегина»), Пушкин готовился писать об «историческом дне» 13 июля, как писал в дошедших до нас — пусть в искаженной передаче — стихах о казненном «пророке России», который является царю — «убийце» — в «позорных ризах», «с вервием вкруг выи»... Вспомнив все это, вспомнив все, что знал и писал Пушкин о казни 13 июля, мы поймем действительный смысл закрепленной им в «Дневнике» сцены, изображающей Николая I в час казни декабристов.



Рылеев.
Рисунок Пушкина.

Достаточно припомнить описание казни, которым оканчивается пушкинская «История Пугачева», чтобы понять, чего лишились мы из-за того, что новый исторический замысел Пушкина остался неосуществленным и от материалов, относящихся к «историческому дню» 13 июля 1826 года, сохранилось в бумагах поэта только немногое: буквы тайной записи о казни, рисунки, изображающие кронверкский вал Петропавловской крепости, на нем виселицу с пятью повешенными декабристами и портрет Николая в день казни — в «Дневнике» Пушкина.

* * *

Пушкин стремился закрепить скрываемые официальной историографией черты кровавого императорского периода русской истории. Иначе, как семейным портретом Романовых, едва ли можно назвать страницу пушкинского «Дневника», из которой приводят обычно только заключительные строки, характеризующие Николая I. Между тем характеристика Николая является только завершением выразительно очерченного Пушкиным в немногих строках семейного портрета последних — для

него — четырех царей. Семейный портрет этот открывается изображением Екатерины II.



Пестель
Рисунок Пушкина.

«Конец ее царствования,— пишет Пушкин,— был отвратителен. Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали, но воцарился Павел, и (замечает Пушкин) негодование увеличилось». Лагарп, продолжает он, «показывал письма молодого великого князя (будущего императора Александра I.— *И. Ф.*), в которых сильно выражается это чувство. ...В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку». Пушкин приводит по этому поводу запомнившееся ему сравнение Александра с Николаем I, говорящее о «ложных идеях», свойственных не только Александру, но и более «положительному», то есть более трезво мыслившему, Николаю. И лишь после всего сказанного, сравнивая Николая I уже не с братом Александром, а с Петром Великим, на которого Николаю так хотелось бы походить, Пушкин заключает: «Кто-то сказал о государе: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» [1].

В «Дневнике» Пушкина, мы видим, сохранились строки, обличающие разврат престарелой Екатерины, жизнь Александра — сначала, при Павле, «под топором», а потом «окруженного убийцами его отца», и Николая — в час казни.

Встречая при дворе и в петербургском свете свидетелей и участников исторических событий, Пушкин, соби-

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, стр. 51—52.

равший в те же годы в архивах материалы для «Истории Петра» и писавший «Историю Пугачева», собирал одновременно рассказы о сегодняшнем историческом дне.

Правдивой истории своего времени ждали декабристы. «Исчез обряд судить народу умерших царей своих до их погребения,— писал Николаю I из крепости обреченный на смерть Каховский.— Но история предает дела их на суд беспристрастного потомства. Не все историки подобны Карамзину, деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства» [1].

Таким историком готовился стать Пушкин, говоривший о самодержцах: «Судит их история, ибо на царей и на мертвых нет иного суда». Он готовил «Историю Петра I», писал «Историю Пугачева» и не оставлял мысли написать Историю своего времени.

1950

---

[1] Сб «Из писем и показаний декабристов». СПБ, изд. М. В Пирожкова, 1906, стр 18

ПРОПАВШИЙ ДНЕВНИК

Когда бумаги Пушкина — через сорок пять минут после смерти поэта — были опечатаны Дубельтом, жандармы пронумеровали листы пушкинского дневника, сорвав стальной замок, которым замкнут был его переплет, и на внутренней стороне переплета помечено было: «№ 2». Но «такая же тетрадь, за № 1, взятая по смерти Пушкина... в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, не была возвращена наследникам поэта, до сих пор не разыскана и, может быть, уже не существует,— писал в 1909 году П. О. Морозов, поясняя: — Покойный академик Сухомлинов, имевший доступ во все архивы, говорил нам, что он всюду тщетно искал эту рукопись и ничего не мог узнать о ее судьбе» [1].

Так писал не только П. О. Морозов, ученый, которому удалось расшифровать листок с зашифрованными рукой Пушкина стихами десятой, «декабристской» главы «Евгения Онегина». Не сомневались в существовании пропавшего дневника поэта и такие авторитетные исследователи, как Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев. Н. К. Козмин допускал, что дневник существует и находится, может быть, за границей. В отличие от них, Б. Л. Модзалевский и М. Н. Сперанский, а в наше время Н. В. Измайлов отрицали существование неизвестного пушкинского дневника. М. А. Цявловский после некоторых колебаний пришел в конце концов к тому же отрицательному выводу. Но вопрос о судьбе дневника достаточно исследован не был и остается, в сущности, нерешенным.

Между тем в 1925 году за рубежом, в издававшемся

---

[1] Сочинения и письма А. С. Пушкина под ред. П. О. Морозова СПБ, изд. «Просвещение», т. VI, стр. 697.

в Праге эмигрантском историко-литературном сборнике «На чужой стороне», появилось неожиданное сообщение. «В 1937 году будет опубликован полностью не изданный еще большой дневник Пушкина (в 1100 страниц),— писал Модест Гофман в статье «Еще о смерти Пушкина».— Несомненно, что он прольет больший свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина, подготовившую эту дуэль; сколько мы знаем, однако, этот дневник еще больше реабилитирует честь его жены, чем все те материалы, которые до сих пор были в распоряжении пушкинистов».

Но ни в 1937 году, когда истек столетний срок со дня смерти Пушкина, ни позднее неизвестный дневник поэта опубликован не был. Существует ли он действительно?

В конце прошлого столетия академик Сухомлинов, как сказано, тщетно искал его в секретном архиве III Отделения. Но разыскиваемый дневник мог там и не находиться. И не только потому, что мог быть уничтожен, поскольку Николай I предписал после смерти поэта: «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина», доставить для прочтения и, «ежели таковые найдутся» (а к числу их мог быть отнесен и неизвестный дневник поэта), по прочтении предать их огню [1].

Неизвестный нам дневник Пушкина мог избежать секвестра и не попасть в III Отделение, если он в часы посмертного обыска почему-либо не находился в кабинете поэта. Вспомним, что письма Пушкина к жене (которые еще при жизни его чрезвычайно интересовали царя и поэтому перлюстрировались) хранились у Натальи Николаевны и она сама отдала их Жуковскому, которому пришлось потом оправдываться перед Бенкендорфом, доказывая, что только эти письма он и вынес в своем цилиндре (из гостиной, пояснял он, а не «из кабинета Пушкина, где стоял гроб его») [2].

Поэт мог хранить неизвестный дневник вне своего кабинета и сознательно. Таким образом, уцелел он скорее всего, если не попал в число рукописей, изъятых жандармами,— и оказался на руках у наследников поэта. Чтобы ответить на вопрос о причинах, которые мог-

---

[1] См.: П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. Государственное издательство. М.— Л., 1928, стр. 229—230.

[2] Там же, стр. 244.

ли побудить их сохранять дневник в тайне, надо вспомнить о судьбе другого, известного нам пушкинского дневника.

* * *

Дневник «№ 2», страницы которого пронумерованы жандармами, возвращен был вдове поэта, а затем перешел к его старшему сыну, Александру Александровичу Пушкину, который удержал его у себя, даже когда передал в 1880 году другие рукописи поэта в дар Московскому Румянцевскому музею. Несмотря на то что отрывки из этого дневника постепенно публиковались, старший сын поэта не любил показывать подлинный дневник даже своим сыновьям и внукам; об этом рассказывали мне правнучки Пушкина Татьяна Николаевна Галина и Наталья Сергеевна Шепелева.

Александр Александрович, тот самый «Сашка», о котором Пушкин когда-то сказал: «Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями»[1], не склонен был оглашать страницы дневника, содержащие резкие отзывы поэта о царях — Николае I и Александре I — и их приближенных. Когда пушкинист В. Е. Якушкин, внук декабриста, прочел на одном из заседаний выдержку из дневника, содержавшую такого рода строки, Александр Александрович, рассерженный, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Однажды только, в 1903 году, по просьбе тогдашнего президента Академии наук великого князя Константина Константиновича, сын поэта решился переслать в Петербург рукопись дневника для снятия полной копии.

Александр Александрович Пушкин скончался в 1914 году, в день объявления войны, и принадлежавший ему пушкинский дневник перешел к старшей дочери поэта, Марии Александровне, вспоминая о которой П. И. Бартенев писал: «Выросши, она заняла красоту у своей красавицы матери, а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором А. С. Хомяков говаривал, что смех Пушкина был так же увлекателен, как его стихи»[2]. Вспоминая впечатление, какое

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XV, стр. 130.

[2] «Русский архив», 1907, № 6 (2-я обложка).

она произвела при встрече на Льва Толстого, Т. А. Кузминская рассказывала: «Знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это» [1].

Мария Александровна Пушкина (в замужестве Гартунг) дожила до Октябрьской революции; она умерла в глубокой старости в Москве в 1919 году, и рукописный дневник поэта перешел к внуку его Григорию Александровичу Пушкину, который был тогда командиром Красной Армии и находился на фронте. 11 октября 1956 года я записал рассказ вдовы его, Юлии Николаевны Пушкиной, о том, как она одна похоронила в тот трудный год Марию Александровну и взяла пушкинский дневник. Внуки решили наконец передать его в музей.

Юлия Николаевна Пушкина рассказала мне, вспомнив подробности, как она отвезла в Москву в конце июня 1919 года дневник поэта из Лопасни, где работала учительницей. Большой по формату и заключенный в переплет дневник она зашила в холст и спрятала из осторожности под платьем; время было такое, что ехать в Москву ей пришлось на крыше вагона, дневник торчал так, что кто-то, не разобравшись, сказал ей: «Туда же, беременная, а лезешь на крышу». Но довезен был дневник благополучно, и, честно сделав тогда свое дело, Юлия Николаевна показала мне бережно сохраненную ею расписку:

«Собственноручный дневник поэта Александра Сергеевича Пушкина принят мною от Юлии Николаевны Пушкиной 20 июня/21 июля 1919 года для Отделения рукописей Румянцевского музея и помещен мною в хранилище рукописей вместе со всеми автографами поэта, пожертвованными музею Александром Александровичем Пушкиным.— *Хранитель* Григорий Петрович *Георгиевский»*. Несколько лет спустя, в 1923 году, дневник был наконец издан — не по копии, а по подлиннику — Государственным издательством РСФСР.

Юлия Николаевна скончалась 22 января 1967 года в Москве, а сын ее, Григорий Григорьевич Пушкин, родной правнук поэта, здравствует поныне. В Москве живут правнучки и праправнуки Пушкина. Но сведений о неизвестном нам дневнике поэта у них нет.

---

[1] Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, изд. 3-е. Тула, 1958, стр. 465.

...Он оказался, по-видимому, за рубежом: по крайней мере первые сведения о нем, опубликованные в 1925 году Модестом Гофманом в пражском журнале, шли от внучки поэта Елены Александровны Пушкиной, уехавшей за границу и вышедшей в Стамбуле замуж за ротмистра Н. Розенмайера.

В 1922—1923 годах Елена Александровна писала советскому торговому представителю в Париже М. И. Скобелеву, предлагая приобрести у нее гербовую печать, принадлежавшую поэту, и некоторые другие пушкинские реликвии. В одном из писем она сообщала: «Что касается до имеющегося неизвестного дневника (1.100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше чем через сто лет после его смерти, то есть раньше 1937 года».

Елена Александровна была дочерью Александра Александровича Пушкина, которому принадлежал известный нам пушкинский дневник («№ 2»), и потому сообщение ее о не изданном еще дневнике поэта не могло не привлечь внимания. С письмом ее вскоре ознакомился Модест Гофман, который был направлен в Париж Российской академией наук в связи с приобретением ею «Онегинского музея», то есть собрания пушкинских рукописей и реликвий, принадлежавших известному коллекционеру Отто-Онегину.

Модест Гофман вступил тогда в переписку с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер, но лишь тридцатилетие спустя (так и не вернувшись в Россию) рассказал в печати о своей встрече с ней — в статье, напечатанной им незадолго до смерти, в 1955 году, в нью-йоркском «Новом журнале». «У меня есть все основания думать,— утверждал он здесь вновь,— что существует еще громадный неизданный дневник Пушкина», добавляя: «Считаю своим долгом рассказать все, что знаю по этому поводу и что, может быть, поможет найти этот ценнейший документ, если он еще уцелел».

«В марте 1923 года,— сообщал далее Модест Гофман, вспоминая свою встречу с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер,— я получил от нее письмо, в котором она писала, что через две недели уезжает в Африку и просит поторопиться с приездом в Стамбул — «дабы я

могла передать вам, как представителю Пушкинского дома, дневник и другие рукописи моего деда».

Получив от нее такое письмо, Модест Гофман выехал из Парижа в Стамбул. Внучка поэта, как оказалось, жила там с мужем в большой нужде. Она показала Гофману гербовую печать поэта и акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной, но вслед за тем муж Елены Александровны сказал: «Что касается до неизданного дневника Пушкина, то тут недоразумение: Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается никому передавать дневник своего деда». «Я пробовал снова убеждать,— пишет Гофман,— ссылаясь на то, что брать с собой дневник Пушкина в африканское путешествие — вещь слишком рискованная, но получил насмешливый ответ: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте».

«В тридцатых годах,— продолжает Гофман,— я подружился с братом Елены Александровны, милейшим Николаем Александровичем, и очень хотел получить у него разъяснения, но безуспешно. «Я знаю наверное,— сказал Николай Александрович Пушкин,— что дневника у нее нет; где находится этот дневник, я не знаю, но помню, что в детстве видел его у отца». Николай Александрович Пушкин здравствовал в Брюсселе до 1964 года. Но трудно решить теперь, видел ли он когда-то у своего отца неизвестный дневник поэта или вспоминал о дневнике «№ 2», хорошо нам известном. Сестра его, Елена Александровна Пушкина-Розенмайер (также скончавшаяся — в Ницце, в 1943 году), предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, не являлась, по-видимому, его владелицей; если он действительно существует, то Елена Александровна могла скорее выступать посредницей, рассчитывая, что другие, известные ей владельцы дневника, согласятся — через нее — уступить или обнародовать его.

Что, однако, удерживает их поныне от опубликования дневника и не может ли ответ на этот вопрос помочь нам выяснить, кто эти владельцы?

Мы помним, как ревниво хранил Александр Александрович, старший сын поэта, пушкинский дневник («№ 2»), охраняя в нем, согласно своим понятиям о долге, тайну, семейную и политическую. Вспомним, как воз-

мущен он был, когда младшая дочь поэта, Наталья Александровна, разрешила И. С. Тургеневу напечатать — с некоторыми пропусками — письма поэта к жене. «Вообразите! — писал тогда Тургенев.— Меня какой-то *А. В.* письменно предуведомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца! Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание?» [1] Мистифицировал ли тогда кто-то Тургенева, но письмо, им полученное, отражало слухи, связанные с негодованием, овладевшим сыновьями Пушкина, и в мае 1882 года подлинники писем поэта к жене вместе с ответными письмами Натальи Николаевны были переданы Александром Александровичем Пушкиным Румянцевскому музею — с условием не предавать их гласности в течение пятидесяти лет.

Однако, прежде чем истек этот длительный срок, неопубликованные письма Натальи Николаевны, хранившиеся еще в первые годы после революции в Румянцевском музее, исчезли оттуда. Хранитель рукописей музея в ответ на расспросы говорил, как мне известно, что письма Натальи Николаевны возвращены были им наследникам поэта. Письма ее, по слухам, оказались затем, по-видимому, за границей — может быть, у тех же владельцев, к которым мог перейти и неизвестный нам дневник Пушкина.

В Англии живут поныне потомки младшей дочери поэта — Натальи Александровны. Дочь ее Софья вступила в конце прошлого века в морганатический брак с великим князем Михаилом Михайловичем; таким образом, внучка Пушкина вышла замуж за внука Николая I, и ей дан был английский титул — графиня Торби. Брак этот вызвал гнев Александра III, великому князю был запрещен въезд в Россию, и внучка Пушкина осталась в Англии навсегда. Между тем ей принадлежали оставшиеся от матери подлинники французских писем Пушкина к невесте. Писем этих она никому не показывала (хотя текст их известен был в русском переводе, напечатанном в 1878 году И. С. Тургеневым по поручению ее матери). И лишь по-

---

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПБ, 1912, стр. 149.

сле ее смерти Сергей Лифарь получил возможность издать эти письма поэта по подлинникам в Париже в 1935 году.

Живущие в Англии потомки поэта принадлежат к высокому кругу английской аристократии. Одна из правнучек Пушкина, недавно скончавшаяся Надежда Михайловна, с тех пор, как племянник ее по мужу, принц Филипп Греческий, стал супругом английской королевы Елизаветы II, была в близком родстве с королевой. Другая правнучка поэта, Анастасия Михайловна (в замужестве леди Вернхер), живет в Англии поныне.

Уехавшая из Москвы в Стамбул внучка поэта Елена Александровна Пушкина-Розенмайер, предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, могла знать, где он находится; этим, вероятно, объяснялся ответ ее мужа Модесту Гофману, приехавшему в Стамбул за дневником: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте». Не имел ли этот ответ в виду английских потомков поэта?

Продавать дневник, если он существует и находится в их владении, у английских потомков Пушкина нет действительно никакой необходимости. А взгляды и представления, им свойственные, могли побудить их беречь тайну дневника, как стремились утаить записки Байрона его наследники. Все это может, мне кажется, объяснить, почему пушкинский дневник остается неизданным.

Дневник, нам известный (тетрадь «№ 2»), охватывает время с осени 1833-го по февраль 1835 года, и потому дневник «№ 1» должен относиться, казалось бы, к предшествующим годам. Но сообщение Модеста Гофмана, утверждавшего, что неизвестный дневник Пушкина «еще больше реабилитирует честь его жены» и «прольет больший свет на историю дуэли», заставляет задуматься, не охватывает ли неизвестный дневник поэта и последние годы его жизни — 1835—1837; предполагаемый же объем дневника может навести на мысль о том, что дневник поэта охватывал весь период 30-х годов. И может статься, что известный нам дневник «№ 2» представляет собой лишь переписанную поэтом набело часть его черновых ежедневных записок (то есть обширного и до сих пор не известного нам дневника 1830-х годов).

Все это, разумеется, не более чем предположения — предположения о самой возможности существования неизвестного пушкинского дневника, о месте его нахождения и о времени жизни поэта, которое могло быть охвачено этим дневником. (Не исключено, конечно, что дневник находится и не там, где мы предполагаем.)

Но возможно ли вообще в наше время обнаружить огромную рукопись Пушкина, относящуюся к потаенной части его наследия? Отвечаю: найти можно как раз то, что остается неизвестным, потому что было скрыто или потеряно. Нашли же в 1917 году внуки Пушкина рукопись его потерянной «Истории Петра», которая занимает теперь целый том в собрании его сочинений. Не говорю уже об обнаруженной в Ленинграде пачке писем Пушкина к дочери Кутузова, Елизавете Хитрово, и о двух найденных после Октябрьской революции лицейских поэмах, которые обнаружены были век спустя после смерти поэта, когда изменились все условия жизни нашего общества. Но за рубежом прежние условия еще существуют, и борьба за пушкинское рукописное наследство, начатая у гроба поэта, еще не окончена.

Гераклит говорил, что тот, кто не надеется найти, не найдет, ибо без надежды нельзя выследить и настигнуть. Нам казалось полезным поэтому собрать и изложить в кратком очерке неизвестные либо труднодоступные читателю данные по вопросу о том, существует ли неизданный дневник поэта, и рассказать о своих предположениях и догадках, не выдавая их за окончательный вывод.

1962

Последний труд

ПОСЛЕДНИЙ ТРУД

ПРОПАВШИЕ ТЕТРАДИ

Судьба пушкинской «Истории Петра» необычна. Когда вышел последний том посмертного издания сочинений поэта, один из современников, выражая недоумение публики, писал об издателях его: «Они ни слова не говорят нам о драгоценном для нас предприятии Пушкина, «Истории Петра Великого». Начал ли он ее? Если начал, то далеко ли довел ее? Если не принимался за окончательное изложение ее, то что приготовил он? Не оставил ли хоть каких-нибудь заметок? Жадно хотим мы все это знать...» Вопросам этим надолго суждено было оставаться без ответа.

Приказав тотчас после смерти поэта опечатать его бумаги, Николай I повелел представить ему «все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого». Известно, что император любил, когда его называли новым Петром Великим, и считал, что «лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви» [1]. Между тем в рукописи Пушкина он прочел:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика» [2].

---

[1] «Русская старина», 1903, № 2, стр. 315—316.

[2] А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах, т. 8. М., 1962, «Художественная литература», стр. 323.

В своей незавершенной «Истории» Пушкин раскрыл противоречивый характер петровского царствования, сумев различить в Петре великого исторического деятеля — и «самовластного помещика». Недаром за неделю до смерти поэт заметил, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть,— пояснил он,— ее не позволят печатать».

Предвидение Пушкина оправдалось.

Между тем его историческому труду придавалось значение государственное. В донесениях о смерти поэта послы, аккредитованные при петербургском дворе, сообщали о нем своим правительствам. «Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого. Для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы империи» [1],— сообщал Меттерниху австрийский посол в Петербурге граф Фикельмон. «Три года тому назад Пушкину была назначена пенсия за работу над историей Петра Великого, и он собрал уже ценные материалы...» [2] — доносил неаполитанский посланник князь ди Бутера.

Вместе с тем послы сообщали, что император повелел Жуковскому сжечь все пушкинские рукописи, которые, как писал баварский посланник граф Лерхенфельд, «могли бы скомпрометировать память Пушкина, относясь к временам его юности, когда он предавался крайним и революционным идеям». Прусский посланник Либерман называл это решение Николая «великодушным порывом его величества» [3].

Но по рассмотрении пушкинских рукописей выяснилось, что, по мнению царя, «компрометирующим» память Пушкина и подлежащим запрету трудом неожиданно оказалась совсем не относящаяся ко временам его юности «История Петра I». Прочитав ее, царь указал: «Сия рукопись издана быть не может...»

Между тем слухи о ней широко распространились, а друзья поэта продолжали хлопотать об ее издании. Они решились изъять из нее все, что могло бы быть сочтено царем «неприличным», и вслед за тем Жуковский вновь обратился к царю. «Теперь,— писал он ему,— манускрипт

---

[1] См. П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.— Л., Госиздат, 1928, стр. 375—379.

[2] Там же, стр. 379.

[3] Там же, стр. 405.

пересмотрен со вниманием, и все замеченное или выброшено, или исправлено. Испрашиваю всеподданнейше позволения у вашего императорского величества напечатать сию рукопись...»[1] Согласие на этот раз последовало, но «Материалы для Истории Петра Великого», как был тогда назван пушкинский труд, изданы не были. Произошел случай, пожалуй, единственный в истории издания пушкинских рукописей: незавершенный труд Пушкина не нашел издателя, и рукопись была возвращена вдове поэта.

Десятилетие спустя неизданная рукопись была передана Натальей Николаевной Пушкиной (ставшей к тому времени женой Ланского) П. В. Анненкову, подготовлявшему к печати сочинения великого поэта. Но в издании этом из обширной «Истории Петра» напечатано было только немногое.

Между тем возвращенная Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской рукопись, на которую стали смотреть как на черновые материалы о Петре, не представляющие существенного интереса и не находящие издателя, хранилась вместе с уложенной в ящики библиотекой Пушкина, забытая в подвалах казарм Конногвардейского полка, которым командовал П. П. Ланской. Затем вместе с библиотекой поэта рукопись была перевезена в подмосковное имение Пушкиных — Ивановское, а оттуда в Лопасненскую усадьбу, принадлежавшую родственникам старшего сына поэта. Здесь она и была забыта при вывозе в конце прошлого столетия из Лопасни книг пушкинской библиотеки.

* * *

Сведения о том, как рукопись Пушкина была обнаружена, основываются на сообщениях внуков поэта. Так, Григорий Александрович Пушкин вспоминал в 1932 году в письме к П. С. Попову, что когда он летом 1917 года приехал в Лопасню, жившая там «Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейкой, висевшая в усадьбе. Григорий Александрович Пушкин, убедившись, что бумага исписана рукой деда, стал искать, откуда растаски-

---

[1] Письмо В. А. Жуковского Николаю I от 3 апреля 1837 г. «Современник», 1913, № 9, стр. 326.

вались эти листы; тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся и уже раскрытый ящик с бумагами, объеденными мышами,— очевидно было, что часть их уже уничтожена» [1]. Это и была пропавшая рукопись пушкинской «Истории Петра».

В найденном ящике среди других бумаг лежали двадцать две тетради большого формата; девяти тетрадей уже недоставало, но вместе с пушкинскими тетрадями в том же ящике нашлась часть копии, снятой с подлинной рукописи после смерти поэта; копия эта восполняла, к счастью, текст некоторых пропавших тетрадей.

Свидетелями лопасненской находки являлись кроме скончавшегося в 1940 году Григория Александровича Пушкина жена его, Юлия Николаевна Пушкина, и младший брат его, Николай Александрович Пушкин (род. в 1885 году), уехавший за границу. Автор настоящей книги записал в октябре 1956 года рассказ Юлии Николаевны Пушкиной о том, как она привезла в 1919 году из Лопасни в Москву и передала на хранение в Румянцевский музей подлинный дневник Александра Сергеевича Пушкина. Она вспоминала также, что ящик с рукописями «Истории Петра» обнаружен был на чердаке лопасненского дома, но подробностей, сопровождавших находку, уже не помнила.

Николай же Александрович Пушкин опубликовал в 1926 году в Брюсселе, в первом номере журнала «Благонамеренный», статью «Об одной неизвестной находке пушкинских рукописей». «Всем хорошо известно,— писал он тогда,— что дед Александр Сергеевич по поручению государя Николая Павловича занимался составлением истории Петра Великого... Несколько лет тому назад мне посчастливилось найти материалы, собранные дедом, но война и революция помешали их опубликованию и поныне препятствуют мне опубликовать мою находку». Высказывая опасение, что находка эта «может погибнуть или вновь затеряться», Н. А. Пушкин выражал желание, чтобы «по крайней мере сведения», сообщаемые им о ней, сохранились «в памяти читателей».

«Вот при каких обстоятельствах,— вспоминал он,— мне удалось разыскать историю Петра Великого, или

[1] См. «Летописи Государственного литературного музея. Пушкин». М., кн. I, 1936, стр. 84.

1722.

Петр был гневен.
Не смотря на все его
указы, Дворяне не слу-
жили не смотря в ведомост.
Он, 11 янв. издал указ
превосходящий свирепостию
все прежние. В нем
подтверждает он свои
повеления, и настоятель-
нее требует. Нетчики
поставлены вне закона.

10-го янв. учреждена
в Москве полиция; она
вверена обер-полицмейстеру
(кому?)
Дан ему наставление

Страница рукописи «История Петра I». 1722 г.
(«Петр был гневен...») *Фрагмент.*

точнее — материалы к ней. Однажды, собираясь из одного из наших имений в Москву, я приказал отправить в город кое-какие деревенские припасы. Мое внимание случайно привлек сверток, завернутый в бумагу, желтоватый цвет и поблекшие, выцветшие чернила которой несомненно указывали на ее старину. Заинтересованный, я развернул бумагу, и — можно представить себе мое изумление»,— вспоминал Николай Александрович. Перед ним оказалось письмо, адресованное Александру Сергеевичу Пушкину.

«Мне также хорошо было известно, что дед никогда не был в этом имении... В полном недоумении я послал за ключницей и спросил у нее, где она взяла бумагу для упаковки провизии. «Да мы, барин, завсегда берем из ящика, что на чердаке»,— получил я простодушный ответ... Понятно, пресловутый ящик был немедленно изъят из обладания доброй старушки, и я тотчас же приступил к его обследованию... Кроме довольно значительного количества писем, адресованных деду и носящих исключительно деловой характер, на дне ящика я обнаружил три больших рукописных тома, озаглавленных «Материалы к истории Петра Великого»... Все три тома кругом исписаны мелким, убористым почерком, и лаконичность записей еще увеличивает объем собранных данных. Местами заметки настолько подробны, что представляют поденную запись деятельности императора.

Дальнейшее расследование,— продолжал Николай Александрович,— дало мне объяснение факта нахождения ящика с документами и «Историей Петра Великого» в этом имении. После пожара, уничтожившего усадьбу, где находилась библиотека деда, уцелевшие вещи — и в том числе сама библиотека — были временно перевезены на хранение в другое имение — то самое, где были найдены документы. При обратной перевозке один из ящиков был, очевидно, забыт и несколько десятков лет спокойно пролежал на чердаке, не привлекая ничьего внимания» [1].

Когда Николай Александрович опубликовал в Брюсселе это сообщение, Григорий Александрович еще здравствовал в Москве и утверждал, что брюссельское сооб-

---

[1] «Благонамеренный». Брюссель, 1926, № 1, стр. 140—142.



Медаль с девизом «Небываемое бывает» — «На взятие шведских фрегатов», 1703 г.

щение говорило, хотя и не совсем точно, все с той же хорошо нам известной лопасненской находке.

Устилали ли в Лопасне страницами «Истории Петра» клетку канарейки, заворачивала ли ключница в них провизию, невольно обратив таким образом внимание потомков Пушкина на его забытую рукопись,— уточнить важно было теперь, разумеется, не это.

Нужно было установить: описывал ли Николай Александрович в своем брюссельском сообщении 1926 года действительно найденную им, но неизвестную нам до сих пор часть рукописей, относящихся к «Истории Петра», или же говорил по памяти — и потому неточно — об известных нам, изданных в 1938 году в Москве рукописях Пушкина, найденных после революции в Лопасне?

Николай Александрович Пушкин, как я получил возможность выяснить еще в сентябре 1956 года, продолжал еще здравствовать тогда в Брюсселе [1], в связи с чем мной была высказана в печати надежда на то, что необходимые разъяснения с его стороны, может быть, еще последуют. И действительно, несколько лет спустя в письме, посланном им из Брюсселя 24 июля 1961 года правнучке поэта Наталье Сергеевне Шепелевой, живущей в Моск-

---

[1] В это время Бельгию посетила делегация советских поэтов в составе П. Антокольского, С. Михалкова и К. Симонова. По просьбе пишущего эти строки участники делегации выяснили, что Н. А. Пушкин продолжал жить в Брюсселе, о чем Павел Григорьевич Антокольский сообщил мне по возвращении в Москву.

ве, Николай Александрович Пушкин сообщил, что «заметки деда для «Истории Петра I», найденные им, как он прямо указывает теперь, вместе с братом, Григорием Александровичем Пушкиным, в Лопасне, были переданы «в Пушкинский музей, и, наверное, это они и были опубликованы»,— добавляет в своем новом письме Николай Александрович Пушкин [1].

* * *

Исторический труд Пушкина в своей большей части все же дошел до нас. Нам известны примерно три четверти его текста. А из пропавшей части его уцелели по воле судьбы как раз наиболее важные строки, которые николаевская цензура стремилась скрыть от читателей: они сохранились в виде выписок, сделанных тогда, когда пушкинская «История Петра» прошла сквозь цензурное чистилище, век назад — еще до того, как рукописи ее были потеряны.

«История Петра», из которой долго были известны лишь немногие отрывки, в наше время наконец увидела свет: она была напечатана в 1938 году в десятом томе Большого академического издания сочинений Пушкина — через сто один год после смерти великого поэта.

ПУШКИН И ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

«История Петра I» дошла до нас в виде подготовительного текста, в котором Пушкин закрепил результаты изучения Петровской эпохи. С глубокой, поражающей и сегодня проницательностью читая источники, он стремился установить, как совершались в действительности важнейшие исторические события петровского времени.

Еще недавно принято было считать, что труд Пушкина является только обширным конспектом многотомного свода исторических источников, изданного И. И. Голиковым в конце XVIII столетия под названием «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России». Между

---

[1] Выражаю глубокую благодарность правнучке поэта Наталье Сергеевне Шепелевой, любезно ознакомившей меня с письмом Николая Александровича Пушкина от 24 июля 1961 года. Он скончался в Брюсселе три года спустя, в конце 1964 года.

тем подобное представление оказалось неправильным, хотя Пушкин широчайшим образом использовал источники, собранные в голиковском своде.

Предание говорит, что Голиков дал обет составить «Деяния Петра Великого», став на колени перед памятником Петру; мы вправе сказать, что он и готовил свой труд, стоя перед ним на коленях. Многотомный голиковский свод, вместивший великое множество исторических материалов о Петре и его эпохе, был поэтому во многом не полон и не мог удовлетворить Пушкина. В своем своде Голиков утверждает, что Петр как государь недостатков не имел, и умалчивает о многих его деяниях, правдивое освещение которых могло бы помрачить славу преобразователя.

Изображая «крутой и кровавый переворот», совершенный Петром, и стремясь осветить не только положительные, но и отрицательные стороны его личности и исторической деятельности, Пушкин не мог, конечно, ограничиться материалами голиковского свода и в важнейших местах своей «Истории» обращался к источникам, труднодоступным и даже совсем недоступным в то время другим русским историкам. К таким запретным источникам обратился он, исследуя дело царевича Алексея, присужденного к смерти по приказу отца.

* * *

В столкновении Петра с Алексеем воплотилась борьба побеждающей «Молодой России» с реакционной оппозицией, видевшей в царевиче свою надежду. Пушкин пишет: «Петр ненавидел сына как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания». Не становясь как историк на сторону Алексея, Пушкин стремился выяснить действительную картину связанных с процессом и смертью царевича событий, многие из которых представлялись современникам поэта таинственными и полтора столетия оставались неизвестны историкам.

В начале пушкинской «Истории Петра» мы читаем: «Царевич Алексей Петрович родился в 1690 году февраля 29. До 1699 года находился он при матери своей, царице Евдокии Федоровне, когда была она заключена в Суздальский монастырь. Суеверные мамы и приставники ожесточили его противу отца, а духовные особы при

обучении его православию вкореняли в нем ненависть к нововведениям...»

Заключив свою первую жену — царицу Евдокию — в монастырь, Петр решил заняться воспитанием царевича, назначив к нему наставника, которому дал, пишет Пушкин, «письменную инструкцию... чему должен он обучать царевича; между тем ожесточенный отрок выучился только притворствовать. Потом Петр произвел его сержантом гвардии, брал его с собою в походы... Петр употреблял его и в государственные дела, а перед турецким походом поручил ему и главное правление» [1].

Говоря о царевиче Алексее, Пушкин пишет, что Петр «уважал его ум», подчеркивая, что ненависть Петра к сыну возникла не сразу и по причинам государственным, а не личным.

Сообщая, что Петр «женил его на принцессе Волфенбительской», Пушкин замечает: «Она, кажется, изменила мужу с молодым Левенвольдом. Царевич ее разлюбил и взял себе в наложницы чухонку...» «Чухонке» этой — Ефросинии — суждено было сыграть плачевную роль в судьбе Алексея.

Рассказав историю царевича, предшествующую бегству его за границу, Пушкин пишет о том, как Алексей привезен был из Неаполя в Москву Толстым и Румянцевым, которым Петр приказал разыскать — и любыми средствами возвратить — бежавшего сына.

«3-го февраля велено было гвардейским полкам и двум ротам гренадер занять все городские ворота. Знатные особы собрались *в столовой Кремлевского* дворца. Туда прибыл и Петр. Царевич без шпаги был приведен и, пав к ногам отца, подал ему повинное письмо, в коем просил помилования...»

После этого царевич объявлен был «от наследства престола отрешенным», и знатные особы, духовенство и народ присягнули в Успенском соборе новому наследнику — малолетнему Петру Петровичу.

Вслед за тем Пушкин приводит ответы Алексея на вопросы Петра, рассказывает о московском следствии, во время которого царевич содержался в Преображенском, и наконец замечает: «Дело царевича, казалось, кончено.

---

[1] Приводимые здесь и ниже тексты из «Истории Петра I» даны по изданию: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VIII, АН СССР, 1949.

Вдруг оно возобновилось...» Неожиданно выяснилось, что он утаил во время московского следствия некоторые обстоятельства и документы, представлявшие большую важность в глазах Петра.

«Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне,— пишет Пушкин о деле царевича.— Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды». Петр стремился раскрыть его связи с оппозиционными вельможами и церковниками. После окончания московского следствия, сообщает Пушкин, «дьяки представили черновые письма царевича к сенаторам и архиереям», писанные из Неаполя. «В мае прибыл обоз царевича, а с ним и Афросиния», скрывавшаяся во время побега царевича вместе с ним за границей. Пушкин пишет: «Изветы ее... были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины».

Пушкин проявляет, таким образом, осведомленность о самых тайных обстоятельствах возобновившегося следствия. «Царевич,— продолжает он,— более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями».

Касаясь подготовки судебного приговора над Алексеем, Пушкин заметил: «Гражданские чины порознь объявили единогласно и беспрекословно царевича достойного смертной казни. Духовенство, как бабушка, сказало надвое».

«24 июня,— читаем мы далее,— Толстой объявил в *канцелярии* Сената новые показания царевича и духовника его (расстриги) Якова. Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексия своеручными же (сначала твердою рукою писанными, а потом после кнута — дрожащею) (от 22 июня)». Таким образом, Пушкин обнаруживает знакомство с поразившим его внешним видом одним из самых секретных документов следствия. Где же мог почерпнуть он все эти скрываемые в его время исторические сведения?

* * *

В голиковском своде источников нет сообщений о пытке, которой был подвергнут царевич по приказу Петра. Голиков утверждает даже, будто «розыск» (которому

подвергся царевич) не означал пытки. «Слово «розыск», как то мы неоднократно изъясняли,— пишет он,— не означало телесного наказания, но значило рассмотрение или розыскание дела».

Нет приведенных Пушкиным данных и в опубликованном по желанию Петра сборнике документов, относящихся к процессу царевича, на который Пушкин ссылается под 1716 годом в «Истории Петра», указывая: «Смотри суд над царевичем».

Нет сообщаемых Пушкиным точных данных и в других существовавших в пушкинские времена печатных источниках, русских и иностранных. Законодательство петровского времени предусматривало применение пытки; жестокие казни были публичными. Источники того времени молчат о пытке, которой подвергся царевич, потому только, что дело шло о наследнике русского престола и Алексей пытан был по приказу отца. В силу сказанного официальные источники не могли касаться этой запретной темы. Вольтер в своей хорошо известной Пушкину «Истории России в царствование Петра Великого» также молчит о ней.

Приводя в «Деяниях Петра Великого» извлечения из запрещенных тогда в России книг Брюса и Кокса, Голиков не упоминает о тех строках «Путешествия» Кокса, где сказано: «Бьющие в глаза расхождения между показаниями царевича на первом следствии в Москве и на петербургском процессе, который велся в большой тайне Петром и ближайшими его сотрудниками, заставляют думать, что по отношению к царевичу применены были пытки». Левек в своей «Истории России», вышедшей в Париже в 1782—1783 годах, замечает, что признания, которые царевич сделал перед судьями, стремившимися его погубить, «производят впечатление сделанных по глупой неосторожности или вырванных силой».

Но ни в книге Кокса, о прямом знакомстве Пушкина с которой у нас нет достаточных данных, ни в «Истории» Левека (Пушкину, несомненно, известной) не содержится ничего, кроме предположений и догадок по вопросу о том, подвергся ли пытке царевич. Между тем Пушкин не только указывает, когда пытали царевича,— он, как сказано, ссылается на его показания, писанные раньше «твердою рукою», «а потом после кнута — дрожащею». Приводимые Пушкиным данные можно было найти толь-

ко в подлинном следственном деле царевича, хранившемся в глубокой тайне в Секретном отделении Государственного архива империи.

* * *

До сих пор не изжито еще представление, будто обращение Пушкина к архивным делам Петровского времени почти ограничилось получением от царя разрешения «рыться в старых архивах». Между тем о работе Пушкина в петровских архивах свидетельствуют воспоминания современников и официальные документы. После смерти поэта вице-канцлер Нессельроде извещал шефа жандармов Бенкендорфа, что «покойный камер-юнкер Пушкин занимался в самом доме министерства иностранных дел прочитыванием и деланием выписок из бумаг, касающихся до царствования императора Петра Великого, и из дел о бунтовщике Пугачеве, для чего отведена была ему особая комната. По мере прочитывания он возвращал даванные ему бумаги».

«С зимы 1832 года»,— читаем мы в «Материалах для биографии А. С. Пушкина», изданных в 1855 году Анненковым,— Пушкин «стал посвящать все свое время работе в архивах... Из квартиры своей в Морской... отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1832... Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад» [1].

В Государственном архиве в то время хранились «акты и бумаги, относящиеся до особенных внутренних дел и важнейших происшествий империи». Николай I, замечает Пушкин в предисловии к своей «Истории Пугачева», приказал привести их в порядок: «Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило».

«Создав для борьбы с нарастающим революционным движением целую систему охранительных органов,— сообщает исследователь истории архивного дела в России И. Л. Маяковский,— Николай I создал и специальное

[1] «Материалы для биографии А. С. Пушкина». СПБ, 1855, стр. 359.

Копия, снятая Пушкиным с письма Петра I князю В. В. Долгорукову (вверху), воспроизводящая почерк Петра I.

секретное хранилище, в котором должны были быть сосредоточены все документы, касающиеся царской фамилии, борьбы вокруг трона, борьбы самодержавия с революционным движением,— словом, все документы особой политической для самодержавия значимости»[1]. Сюда же были переданы из состава «Кабинета его величества» бумаги Петра I. В архив этот и был допущен для занятий Пушкин.

Государственный архив, «который открывался очень немногим», «находился в Главном штабе, в верхнем этаже, в отделении министерства иностранных дел»,— писал в своих воспоминаниях историк Устрялов, которому Николай I поручил после смерти Пушкина написать «Историю Петра Великого». Что касается начальника архива Поленова, то «человек он был старый, тяжелый, большой формалист».

В бумагах Пушкина сохранилась опись под заголовком «Дела под названием «Архив императора Петра I». Но опись эта не дает ответа на вопрос о том, получил ли Пушкин доступ к делам, хранившимся в секретном отделении Государственного архива, наиболее недоступным из которых являлось дело царевича Алексея.

Вице-канцлер Нессельроде, которому подчинен был Государственный архив, стремился всячески ограничить данное Пушкину разрешение «рыться в старых архивах». Поэтому он 12 января 1832 года обратился к царю с докладом, в котором сообщал, что «во исполнение высочайшей воли» им уже сделано «распоряжение» о допущении Пушкина в архивы. «Но при этом я осмеливаюсь испросить,— писал Нессельроде,— благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии»[2].

Три дня спустя Нессельроде извещал графа Блудова: «Его императорское величество... повелел... чтобы храня-

---

[1] И. Л. Маяковский. Очерки по истории архивного дела в СССР, ч. I. М., 1941, стр. 231.

[2] Сб. «Пушкин». Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг. Сост. Н. Гастфрейнд. СПБ, 1900, стр. 17—18.

щиеся в здешнем архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению Вашего превосходительства, но чтобы он прочтением и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом»[1].

Снискавший своим участием в суде над декабристами полное доверие Николая I, Блудов получил в свое ведение и важнейшие политические дела прошлых царствований. Все это в достаточной мере объясняет, почему Николай I признал необходимым, чтобы «секретные бумаги времен императора Петра I открыты были Пушкину не иначе, как по назначению» графа Блудова. Но воспользовался ли Пушкин полученным разрешением и какие из секретных дел были ему открыты «по назначению» Блудова?

Уверенность в том, что Пушкин не получил доступа к секретным следственным документам, хранившимся в деле царевича, была так велика, что исследователи не замечали даже прямой ссылки на архивное дело царевича Алексея, сделанной в рукописи «Истории Петра». Между тем Пушкин пишет: «14 июня Петр прибыл в Сенат и, представя на суд несчастного сына, повелел читать выписку из страшного дела *(смотри подлинник)*»[2].

Ссылаясь здесь — под 1718 годом — на «выписку из страшного дела», Пушкин имел в виду архивный *подлинник,* ибо в печатном издании этой «выписки» были опущены все упоминания о пытке, которой был подвергнут царевич. В «подлиннике» же, на который прямо ссылается Пушкин, не только содержатся все эти указания, но и отмечены места, которые не могли появиться в печатном издании процесса царевича. «Не печатать»,— помечено на полях в ряде мест этой уцелевшей до нашего времени подлинной «выписки», которая хранится теперь вместе с другими документами, входившими в состав секретного когда-то следственного дела царевича, в Центральном государственном архиве древних актов в Москве.

В этом архивном деле поныне лежат «пыточные речи»

[1] Сб. «Пушкин». СПБ, 1900, стр. 18.
[2] Курсив мой.— *И. Ф.*

царевича от 19 и 24 июня 1718 года. Здесь мы видим и упомянутые выше ответы Алексея на вопросы Петра, писанные царевичем 22 июня, выразительный внешний вид которых привлек внимание Пушкина. (Историк М. Семевский впоследствии также отметил, что эти ответы Алексея писаны «уже рукою не твердою... после кнутового допроса».)

Изучив подлинное следственное дело царевича, мы убеждаемся, что Пушкин почерпнул в нем недоступные в его время другим историкам данные о процессе Алексея.

Сумев благодаря своей страстной настойчивости исследователя получить, несмотря на все возникавшие препятствия, доступ к секретному делу о Пугачеве, Пушкин добился доступа и к другому, не менее секретному делу царевича Алексея [1].

* * *

Документы, связанные с розыском по делу царевича, Пушкин знал. Но секретный документ из архива Тайной канцелярии, проливающий свет на причину смерти царевича, ему известен не был: Пушкин думал, что царевича отравили по приказу Петра, и поэтому пишет в своей «Истории», что «царевич умер отравленный». Мы имеем теперь возможность установить, на чем основывалось это мнение Пушкина.

Официальная версия гласила, что по выслушании смертного приговора царевич «почувствовал во всем теле ужасную судорогу, от которой на другой день и умер». Вольтер в своей «Истории России в царствование Петра Великого» рассказывает, кроме того, будто Петр явился на зов умирающего Алексея, «и тот и другой проливали слезы, несчастный сын просил прощения», и «отец простил его публично». Но примирение запоздало, и Алексей скончался от постигшего его накануне апоплексического удара. Сам Вольтер этой версии не верил и 9 ноября 1761 года, в период работы над своей книгой о Петре

---

[1] Во втором — десятитомном — академическом издании сочинений Пушкина, вышедшем в 1958 году, после опубликования в «Вестнике Академии наук СССР» № 1 за 1955 год нашего исследования «Пушкин и дело царевича Алексея», в комментарии введено было указание на то, что Пушкин, работая над «Историей Петра I», использовал архивное дело царевича.

Великом, писал Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что двадцатитрехлетний принц умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться» [1].

Отвергая версию о насильственной смерти царевича, Голиков упоминает в своем труде о записках капитана Брюса, рассказывавшего, что царевич был отравлен. Пушкин заинтересовался книгой Брюса, в то время в России запрещенной, и из письма А. Я. Вильсона от 18 декабря 1835 года мы узнаем, что книга эта была Пушкину доставлена. «Вместе с сим получить изволите,— писал ему А. Я. Вильсон,— записки капитана Брюса, в которых найдете много любопытства достойного...» [2]

Вскоре после смерти Пушкина Д. Е. Келлер сделал в дневнике запись о своей встрече с ним, состоявшейся недели за три до смерти поэта. В разговоре с Келлером Пушкин коснулся причины смерти царевича Алексея. Но запись Келлера была в свое время опубликована с отточиями, указывающими на какие-то пропуски в тексте ее, и это побуждает нас установить по возможности полный текст ее.

Дневник Келлера находится ныне, как мне удалось выяснить, в Центральном государственном военно-историческом архиве в Москве [3]; раскрыв этот дневник, мы получаем возможность убедиться, что в печатном тексте его точками обозначены места, которые не поддавались прочтению из-за того, что некоторые строки в рукописи дневника тщательно зачеркнуты — теми же чернилами, какими написан весь текст. Келлер внес в свой дневник подлинные слова поэта, но, по-видимому, испугался смелости своей записи и сам зачеркнул их.

Некоторые из зачеркнутых слов оказалось возможным все же прочесть: мне удалось разобрать, что Пушкин показывал Келлеру записки Брюса. Чтение это подтверждалось тем, что Келлер говорит в своей записи о показанной ему Пушкиным английской книге, где упо-

---

[1] См. Вольтер. Собрание сочинений в 42 томах, вышедшее в Париже в 1817—1820 гг., сохранившееся в библиотеке Пушкина, т. 34 (царевич Алексей родился в 1690 году).

[2] Пушкин. Собрание сочинений в 16 томах, т. 16, стр. 67.

[3] ЦГВИА, фонд Военно-ученого архива Главного штаба, ед. хр. № 1150.

~~цирографами и обѣщалъ доставить выписку изъ Гордона на Англiйскомъ языкѣ о Стрѣлецкихъ Дѣлахъ. Онъ~~ [illegible]

Онъ рискнулъ мнѣ страницу Англiйской книги, записокъ Брюса о Петрѣ Великомъ, въ которой упоминалось объ отравѣ царемъ Алексѣя Петровича приговоренного. Вотъ какъ тогда это думалось.

Дневник Д. Е. Келлера. Зачеркнутые строки (вверху). Внизу те же строки, прочитанные с помощью специального фотографирования.

миналось не просто «о смерти» царевича Алексея (как ошибочно печатали ранее), а об отравлении его; версия же об отравлении царевича излагается, как сказано, в записках Брюса.

Правильность этого чтения была подтверждена специалистами Центральной криминалистической лаборатории, где с помощью специального фотографирования удалось восстановить более полно интересующие нас строки дневника Келлера. Келлер, как теперь можно считать установленным, писал, вспоминая свою встречу с Пушкиным:

«Он раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царевича Алексея Петровича, приговаривая: *«Вот как тогда дела делались»*. Я сам читаю теперь эту книгу, но потом, если желаете, ее вам пришлю» [1].

«Вот как тогда дела делались» — эти слова Пушкина оставались до сих пор неизвестными.

Восстановление записи Келлера позволяет не только понять, какую именно говорящую о смерти царевича Алексея книгу раскрыл Пушкин, но и определить, какую страницу ее он прочел Келлеру. Это была та страница записок Брюса, изданных в Лондоне в 1782 году, где рассказывается об отравлении царевича. Вот она в переводе:

«Маршал Вейде, выйдя из крепостного бастиона, где заточен был Алексей (рассказывает Брюс.— *И. Ф.*), приказал мне пойти к господину Бэру, аптекарю, чья лавка находилась поблизости, и сказать ему, чтобы он приготовил то питье, которое было ему заказано, ибо царевич тяжко болен. Когда я передал это известие господину Бэру, он побледнел, затрясся, задрожал и показался мне совершенно растерявшимся. Все это настолько удивило меня, что я попросил его объяснить, что с ним происходит. Но он неспособен был что-либо ответить.

В это время пришел сам маршал, который был почти в таком же состоянии, как и аптекарь. Маршал сказал ему, что он должен поторопиться, так как состояние царевича стало после приключившегося с ним апоплексического удара крайне опасным. В ответ на это аптекарь передал маршалу серебряный сосуд, закрытый крышкой, и маршал ушел с ним в помещение царевича; ушел он, шатаясь, как пьяный».

Достоверность сведений об отравлении царевича Алексея, сообщаемых Брюсом, как и записок Брюса в целом, давно, и с полным основанием, поставлена под сомнение русскими историками. Но в свое время Пушкин счел изложенную в них версию о смерти царевича верной. Он был прав только в том отношении, что смерть Алексея являлась насильственной.

---

[1] Заключение Центральной криминалистической лаборатории Министерства юстиции СССР за подписью старшего научного сотрудника В. Ф. Орловой, которой приношу сию благодарность за ценную помощь в работе.

Устрялов ясно дает понять в своей позднейшей «Истории Петра Великого», что царевич умер, не выдержав пыток, которым был подвергнут в присутствии Петра на другой день после объявления ему смертного приговора. Петр опасался, по-видимому, что царевич унесет в могилу имена сообщников, еще им не названных; нам известно, что Тайная канцелярия и сам Петр еще долго разыскивали их после смерти Алексея.

Пушкин был введен в заблуждение, когда писал о смерти царевича, потому что архивный документ, позволяющий судить о действительной причине ее, не был ему доступен. Не был показан он позднее и Устрялову. И лишь воспоминания последнего, напечатанные в 1880 году, открывают нам, откуда Устрялов почерпнул свои сведения.

Когда печатание шестого тома устряловской «Истории», посвященного делу царевича Алексея и изданного в 1859 году, уже «было в полном ходу», говорит Устрялов в своих воспоминаниях, он «отправился к доброму и умному К. И. Арсеньеву», чтобы «узнать у него *наверное,* как умер царевич» [1]. Это был тот самый Константин Иванович Арсеньев, с которым за двадцать пять лет до этого Пушкин, по свидетельству В. Г. Григорьева, беседовал в доме Плетнева «о лицах и событиях времен Петра Великого, историю которого собирался тогда писать великий поэт»: «о лицах этих и их отношениях между собою — родственных и служебных — говорил Арсеньев с такими подробностями, точно был современником им и близким человеком».

Арсеньев состоял сначала профессором Петербургского университета, а потом преподавал русскую историю цесаревичу Александру (будущему Александру II) и был допущен к занятиям в Государственном архиве.

«Я рассказал ему,— передает, вспоминая состарившегося Арсеньева, Устрялов,— все, как у меня написано, то есть что царевич умер в каземате от апоплексического удара...

Арсеньев мне возразил: «Нет, не так. Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из Государственного

---

[1] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. «Древняя и новая Россия», 1880, август, стр. 680.

архива документы о смерти царевича Алексея. Управляющий архивом принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня в восемь часов утра (то есть после объявления ему смертного приговора.— *И. Ф.*) был пытан в Трубецком раскате, а в восемь часов вечера колокол возвестил о его кончине». «Эту бумагу прочли,— приводит Устрялов слова Арсеньева,— запечатали и отдали Поленову, который,— добавляет от себя в этом месте своих воспоминаний Устрялов,— не сказал мне о том ни слова» [1].

Узнав от Арсеньева о содержании этого секретного архивного документа, Устрялов получил возможность внести в свою «Историю» содержащиеся в нем сведения о смерти царевича. Пушкин же об этом секретном документе так и не узнал и потому сохранил ошибочное представление о причине смерти Алексея.

О том, какое значение придавал Пушкин работе в архивах, говорит его письмо к Погодину, которому великий поэт 5 марта 1833 года писал: «Сколько отдельных книг можно составить тут! Сколько творческих мыслей тут могут развиться!» [2]

В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

В великолепной библиотеке Вольтера, купленной Екатериной II и хранящейся по сей день в Ленинграде, стоят и сейчас пять фолиантов в переплетах коровьей кожи; в них содержатся рукописные исторические материалы, собранные Вольтером в то время, когда он работал над своей «Историей России в царствование Петра Великого».

Материалы эти чрезвычайно интересовали Пушкина. С большим вниманием прочел он говорящие о них письма Вольтера, напечатанные в собрании сочинений великого французского писателя, и многие из этих писем отметил закладками в своем экземпляре 42-томного собрания сочинений Вольтера, которое сохранилось в библиотеке Пушкина.

---

[1] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. «Древняя и новая Россия», 1880, август, стр. 680.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X, стр. 428—429.

В одном из своих писем Вольтер сообщал, что, помимо исторических материалов, полученных им из России, он «собирал рукописи по всей Европе и встретил помощь, на какую не смел и надеяться». «По счастливой случайности,— замечает он в том же письме,— я получил мемуары послов»,— аккредитованных при дворе Петра I. Таким образом, Пушкин мог надеяться найти в библиотеке Вольтера не только русские материалы, но и записки иностранных послов при петровском дворе. Пушкину было хорошо известно, что Вольтер не решился полностью использовать их в своей знаменитой книге, и это убеждало Пушкина в необходимости получить доступ к собранным Вольтером интереснейшим рукописным источникам и ознакомиться с ними.

24 февраля 1832 года Пушкин обратился через Бенкендорфа к царю с просьбой «о дозволении» «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого» [1], и пять дней спустя Бенкендорф известил Пушкина, что «его величество всемилостивейше дозволил» ему «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера» [2]. Таким образом, для Пушкина сделано было исключение, поскольку Николай I строго запретил кому бы то ни было читать книги вольтеровской библиотеки и делать из них выписки. Пушкин был единственным русским читателем, которому удалось тогда преодолеть этот запрет.

Насколько недоступными оставались собранные Вольтером рукописи, можно судить по замечанию, сделанному Устряловым во введении к «Истории царствования Петра Великого»: он считал, что посланные Вольтеру исторические материалы исчезли. «Не жаль потери золотых медалей и дорогих мехов (присланных из России в подарок Вольтеру.— *И. Ф.*),— пишет он,— но жаль материалов, которые частию посланы были в подлиннике и утратились невозвратно» [3].

---

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XV, стр. 14

[2] Там же, стр. 15.

[3] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПБ, 1858, стр. X.

* * *

В записной книжке Пушкина сохранился рисунок, изображающий статую Вольтера работы Гудона, которую Николай I приказал поставить подальше от глаз в никем не посещаемую библиотеку Вольтера. Под рисунком этим Пушкин сделал свою помету: *10 марта 1832 г. Библиотека Вольтера*[1]. Мы должны постараться установить, ознакомился ли Пушкин в библиотеке Вольтера с интересовавшими его материалами о Петре. И если ознакомился, то что нашел он в них.

В академическом издании сочинений Пушкина вслед за «Историей Петра» напечатан «Хронологический перечень главных событий царствования Петра I», представляющий собой список, сделанный Пушкиным с рукописи, находящейся среди бумаг библиотеки Вольтера.

Этот переписанный рукой Пушкина хронологический перечень является прямым доказательством использования им петровских материалов, хранящихся в библиотеке Вольтера. Сделанная Пушкиным обширная выписка является единственной дошедшей до нас; но возможно ли предположить, что, получив доступ ко всем пяти томам рукописных материалов о Петре, собранных Вольтером, Пушкин прочел из них один только этот хронологический перечень и тем ограничился, не обратив внимания на все остальное?

Материалы, собранные Вольтером, переплетены в пять томов и легко обозримы. Пушкин знал об их ценности. Перед ним были не только малодоступные другим историкам источники, уже собранные в коллекцию,— рукописи, лежавшие перед ним, соединяли всю заманчивость редкости с доступностью книги, ибо записки современников Петра, в том числе и записки, написанные по-немецки, были переведены для Вольтера на французский язык, которым Пушкин так блестяще владел, и каллиграфически переписаны; чтение их не требовало поэтому от Пушкина ни большого труда, ни чрезмерной затраты времени. Следует добавить, что важнейшие из записок, собранных Вольтером, не могли не обратить на себя внимание Пушкина уже своим внешним видом. Две рукописи из числа собранных Вольтером должны были сразу же привлечь его внимание.

[1] Архив ИРЛИ, ф. № 244, оп. 1, № 840.



Вольтер Под ним автопортрет Пушкина.
Рисунок Пушкина.

Это прежде всего записки Бассевича, рассказывающего о происходивших на его глазах и чрезвычайно интересовавших Пушкина событиях, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Петр, по словам Пушкина, «уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца». За год до смерти он короновал Екатерину как свою супругу, но умер без завещания, не в силах будучи произнести имя своего преемника и оставляя государство на произвол борющихся между собой за власть дворцовых партий.

С вопросом о правах Екатерины на русский престол и историей ее воцарения тесно связаны были события, происшедшие почти перед самой смертью Петра: неожиданный разрыв его с Екатериной и казнь любовника ее — камергера Монса. Касаясь этих событий, Вольтер, как было известно Пушкину, основывался в своей книге на записках Бассевича (говоря в «Истории Петра I» о тех же происшествиях, Пушкин счел нужным отметить: «Вольтер ссылается на Бассевича... бывшего тогда в Петербурге»). Рукописью записок Бассевича открывается третий том исторических материалов о Петре, сохранившихся в библиотеке Вольтера.

Во втором их томе обращает на себя внимание роскошная по своему виду рукопись «Анекдотов о русском дворе в царствование Петра I и его второй супруги Екатерины». Автором ее назван на титульном листе рукописи Вильбуа — «командир русской эскадры». Авторство последнего давно уже поставлено под сомнение; в литературе, посвященной изучению источников Петровского времени, было высказано предположение, что действительным автором этих записок являлся французский посол при дворе Петра I Кампредон.

Но независимо от вопроса о том, кто является в действительности автором этих исторических анекдотов о Петре и Екатерине, независимо даже от степени достоверности всех рассказов, входящих в ее состав, несомненно, что рукопись, о которой мы говорим, содержит в себе рассказы очевидца, имевшего возможность следить в последние годы царствования Петра за отношениями, сложившимися между Петром и Екатериной. В рукописи этой много занимательных, а отчасти и достоверных сведений и черт, характеризующих петровский двор. Она должна была тем более заинтересовать Пушкина, что на ней, как он знал, основывались Кастера и Сегюр — французские авторы, писавшие о казни Монса, сочинения которых сохранились в библиотеке поэта. Рассказы этих иностранных авторов, требовавшие критической оценки, Пушкин получал теперь возможность сопоставить с рукописью тех самых мемуаров, которые являлись их главным источником.

Сказанное не означает, конечно, что Пушкин оставил без внимания остальные материалы о Петре, собранные Вольтером, но мы остановимся здесь только на двух, уже

названных рукописях — записках Бассевича и «Анекдотах» Вильбуа — и постараемся выяснить, что именно Пушкин мог почерпнуть в них.

Записками Бассевича (*министра герцога Гольштейнского,* как указывает Пушкин, упоминая о нем в своей «Истории Петра») начинается третий из фолиантов Вольтера. Можно добавить, что письмо Вольтера Шувалову от 8 июня 1761 года, из которого видно, что он считал нужным использовать мемуары Бассевича, отмечено в собрании сочинений Вольтера закладкой Пушкина. Трудно поэтому сомневаться в том, что Пушкин, увидев среди бумаг Вольтера рукопись записок Бассевича, прочел ее. Но дело не сводится лишь к внешним данным, указывающим на возможность знакомства Пушкина с этой рукописью, точнее — с французским извлечением из записок Бассевича, сохранившимся в бумагах Вольтера.

Рассказав в своих записках о борьбе сторонников возведения на престол малолетнего Петра, сына погибшего царевича Алексея, стремившихся к восстановлению допетровских порядков, против партии Меншикова и Екатерины, Бассевич пишет:

«Меншиков, Бассевич и кабинет-секретарь Макаров в присутствии императрицы после того с час совещались о том, что оставалось еще сделать, чтобы уничтожить все замыслы против ее величества...

Император скончался на руках своей супруги утром на другой день... Сенаторы, генералы и бояре тотчас же собрались во дворец... Бассевич сказал Ягужинскому: «Уведомляю вас, что казна, крепость, гвардия, синод и множество бояр находятся в распоряжении императрицы... Передайте это тем, в ком вы принимаете участие, и посоветуйте им сообразоваться с обстоятельствами, если они дорожат своими головами»... Весть эта быстро распространилась между присутствующими. Когда Бассевич увидел, что она обежала почти все собрание, он подошел и приложил голову к окну, что было условным знаком, и вслед за тем раздался бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец...»

Меншиков говорил сначала от имени императрицы, а потом отвечал ей от имени собравшихся. «Все целовали ей руку, и затем открыты были окна. Она показалась

в них народу, окруженная вельможами, которые восклицали: «Да здравствует императрица Екатерина!» Офицеры заставляли повторять эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бросать деньги пригоршнями...» [1]

Голиков в своих «Деяниях Петра Великого» (которые стояли на рабочем столе Пушкина) утверждал, будто он не знает действительных обстоятельств, сопровождавших возведение на престол Екатерины I, «ибо,— говорит он,— я не имею точных о сем в собрании моем записок» [2].

Записки Бассевича должны были явиться важным источником для историков, изображавших смерть Петра и воцарение Екатерины. Они были впервые опубликованы в 1775 году в «Сборнике новой истории и географии», издававшемся в Германии, но у нас нет сведений о том, что Пушкин был знаком с этой публикацией.

В книге А. Вейдемейера, изданной в 1831 году в Петербурге под названием «Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны», в первой же главе, где описывается смерть Петра, автор ссылается на записки Бассевича, приводя подробности вступления на престол Екатерины I. Но изложение записок Бассевича в этой вышедшей в николаевское время книге было, разумеется, сильно смягчено.

Пушкин же, изобразив в своей «Истории» смерть Петра, кратко и вместе резко указывает: «Екатерина провозглашена императрицей (велением Меншикова, помощию Феофана и тайного советника Макарова)». В этой краткой записи, которую Пушкину предстояло еще развернуть в исторический рассказ, отразилась, бесспорно, его осведомленность о действительном ходе событий, представленных даже у Вольтера в смягченном до крайности виде.

Резкость и точность пушкинских строк, касающихся воцарения Екатерины, объясняются тем, что осведомленность его о событиях, сказавшаяся в его «Истории

---

[1] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», хранящиеся в составе библиотеки Вольтера в Отделе редкой книги Гос. Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, т. III, лл. 95—100.

[2] «Деяния Петра Великого», т. IX. М., 1789, стр. 204.

Петра», основывалась, по всем данным, на знакомстве с записками Бассевича, найденными им в библиотеке Вольтера. Несмотря на то что Бассевич являлся сторонником Екатерины и Меншикова, роль последнего представлена была в его записках с достаточной ясностью. И не случайно Анненков, печатая век назад пушкинский рассказ о смерти Петра, принужден был исключить из него строки Пушкина, говорящие о том, что Екатерина провозглашена была императрицей «велением Меншикова».

* * *

В хранящихся среди материалов Вольтера записках, приписываемых Вильбуа, «командиру русской эскадры», содержатся сведения о чрезвычайно интересовавшем Пушкина деле Монса[1].

Екатерина, говорится в этой рукописи, достигнув всего, что только доступно честолюбию, изменила Петру, вступив в связь с камергером своего двора Монсом. Автор записок говорит, что он подозревал об этой любви, имея возможность видеть Екатерину и Монса вдвоем, хотя не был никем предупрежден об их романе. Увидев Екатерину и Монса в обществе, то есть в кругу придворных, он окончательно убедился в правильности своих подозрений.

Когда Екатерина почувствовала, что ее ожидает, как сказано в записках — падение с высоты трона в пропасть, она испугалась и захотела прибегнуть к содействию графа Толстого и графа Остермана, ибо царь, получив неопровержимые доказательства неверности Екатерины, желал судебного процесса, стремясь открыто погубить ее. Он говорил о своем плане с Толстым и Остерманом; тот и другой бросились на колени, стремясь отговорить Петра. Они доказывали, что разумнее будет скрыть происшедшее, иначе невозможен станет брак дочерей Петра — Анны и Елизаветы, которые должны были вскоре вступить в супружество с европейскими принцами.

Петра удалось удержать от задуманного им мщения, и он отомстил иначе: публично отрубив голову любовни-

---

[1] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», собранные Вольтером, т. II, стр. 56—60.

ку Екатерины (Монс был осужден за должностные преступления, действительно им совершенные).

Автор записок, или «Анекдотов», рассказывает далее, что обезглавленный труп Монса выставлен был на площади вместе с его отрубленной головой, и Петр заставил Екатерину проехать вместе с ним в открытых санях мимо самого эшафота. Петр глядел на нее пристально, но Екатерина сумела удержаться от слез и скрыть свои чувства.

В записках рассказывается о приступе ярости, овладевшей Петром, но автор отвергает предположение, что Екатерина отравила Петра; он указывает, что Петр умер от давней своей болезни.

Бассевич в своих записках также упоминает о том, что Петр провез Екатерину мимо столба, к которому пригвождена была голова Монса, но умалчивает о том, что Екатерина и Монс (сторонником которых был Бассевич) находились между собой в тайной связи. «Завистники,— пишет он,— очернили в глазах императора отношения к императрице сестры Монса госпожи Балк и ее брата». Голиков в «Деяниях Петра Великого» о действительной причине казни Монса, конечно, также умалчивал.

Вольтер, знавший и рукопись, приписываемую Вильбуа, и записки Бассевича, не решился рассказать в своей книге действительную историю казни Монса. Он лишь глухо говорит о «семейных печалях, которые, может быть, причинили» смерть Петру; пишет, что «у Екатерины был один молодой камергер Монс де ля Круа», который «был очень пригож»; пишет, что Монс и сестра его посажены были в тюрьму «за то, что они принимали подарки», несмотря на то что это запрещено было чиновникам под страхом смертной казни. Рассказывая во введении к своей «Истории Екатерины II» о деле Монса, Кастера, как было известно Пушкину, упрекал Вольтера за то, что прославленный писатель не осмелился использовать источники, которыми располагал.

Пушкин же в своей «Истории Петра I» пишет:

«В сие время камергер Монс де ла Круа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. Два ее сына — камергер и паж — разжалованы в солдаты. Другие оштрафованы.

Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим».

И продолжает:

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? По крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою...»

Пушкин был прекрасно осведомлен о деле Монса, как и об обстоятельствах, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Он основывался, видимо, не только на печатных источниках и знаком был с рукописными мемуарами, которые прочел в библиотеке Вольтера.

ПАРИЖСКИЕ БУМАГИ

До последних дней жизни Пушкин продолжал работать над «Историей Петра». Ему удалось получить доступ к секретным историческим документам, хранившимся в Государственном архиве империи; ознакомиться с материалами иностранных архивов Пушкин, казалось, не мог: Николай I не выпускал его из России. Между тем изучение дневника Александра Тургенева неожиданно проливает на этот вопрос новый свет.

Замечательные дневники известного собирателя зарубежных архивных материалов Александра Ивановича Тургенева, те «журналы-фолианты», в которые он день за днем записывал, по словам Вяземского, каждую встречу, каждое слово, им слышанное, остаются до сих пор в большей своей части неизданными. А в опубликованных извлечениях из тургеневского дневника можно обнаружить записи, оставшиеся непонятыми из-за того, что Тургенев многое записывал для одного себя, не поясняя содержания своих кратких заметок. Так, 9 января 1837 года он записывает:

«Я зашел к Пушкину... потом он был у меня, и мы рассматривали французские бумаги...» 26 января — накануне дуэли — запись Тургенева гласит: *«Я сидел до*

4-го часа, перечитывал мои письма»,— а затем говорится: *«Успел только прочесть Пушкину выписку из парижских бумаг...»* [1] Эти тургеневские записи были опубликованы, но оставались нераскрытыми. Между тем обращение к подлинному дневнику А. И. Тургенева, к неизданным страницам его и к другим материалам тургеневского архива, хранящимся в Пушкинском Доме Академии наук СССР [2], позволяет ответить на вопрос о том, какие «французские бумаги» рассматривал Пушкин с Александром Тургеневым 9 января и какую «выписку из парижских бумаг» Тургенев успел прочесть Пушкину 26 января, накануне дуэли.

* * *

Узнав еще в 1831 году о том, что Пушкин приступил к работе над «Историей Петра», Тургенев, давний друг поэта, сразу вызвался помогать ему, как раньше помогал Карамзину, доставляя источники для «Истории Государства Российского».

Пересылая в 1836 году в Россию извлеченные им из парижских архивов копии донесений французских послов при дворе Петра I и его преемников, А. И. Тургенев писал: «Вот третий пакет... В нем и полпуда нет, хотя полвека нашей истории в нем уписалось» [3].

Работа Тургенева в парижских архивах чрезвычайно интересовала Пушкина, и он публиковал в «Современнике» его парижские письма, в которых Тургенев много внимания уделял своим архивным поискам и находкам.

Возвратившись в Петербург в ноябре 1836 года, Тургенев виделся с Пушкиным почти ежедневно, иногда дважды-трижды в течение дня. Через месяц по приезде Александр Иванович сообщал: «Пушкин мой сосед. Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах» [4]. В это время Тургенев готовил к печати третью часть своих писем из-за границы. Про-

[1] П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.— Л.. Госиздат, 1928, стр. 285, 290.

[2] Архив ИРЛИ АН СССР, ф. 309, № 316.

[3] «Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Государственное социально-экономическое издательство, 1939, стр. 194.

[4] «Московский пушкинист». М., 1927, вып. 1, стр. 23—24.

читав их, Пушкин 16 января 1837 года писал Тургеневу: «Вот Вам Ваши письма... Думаю дать этому всему вот какое заглавие: Труды, изыскания такого-то или *А. И. Т.* в римских и парижских архивах. Статья глубоко занимательная» [1]. Она появилась в пятой книге «Современника» — уже после смерти Пушкина.

* * *

Нетерпеливый Тургенев в первый же день своего приезда в Париж побывал в отделе рукописей Королевской библиотеки. Разрешение заниматься в архиве французского министерства иностранных дел он получил тогда же. «История,— писал он в «Современнике»,— представляется здесь совсем в ином виде, нежели в обыкновенных обозрениях главных событий в государствах: ясно видны тайные политические замыслы, первые, так сказать, зародыши важных исторических происшествий, пружины, коими приводили тогда в действие государственные машины; талант действовавших лиц и правила кабинетов».

Характеризуя прочитанные в архиве донесения столетней давности, Тургенев заметил, что послы и министры говорят в них о Петре «не всегда с равным беспристрастием, но всегда с каким-то невольным, вынужденным энтузиазмом к необыкновенному, великому... Европейские кабинеты вдруг заговорили о нем, о России уже, а не о *Московии!*» [2]

В своих статьях о французских архивах Тургенев вынужден был из-за цензуры о многом умалчивать. Привезенные из Парижа копии донесений французских послов он готовился поднести Николаю I. И, чтоб облегчить царю ознакомление с этими материалами, выделял то, что было в них наиболее важным. С этой целью Тургенев (с помощью К. С. Сербиновича) готовил для царя «выписку из парижских бумаг».

Зная дружеские отношения Пушкина и Александра Тургенева, близость их исторических интересов и занятий, можно было предположить, что Тургенев показал Пушкину привезенные из Парижа исторические материа-

---

[1] Пушкин. Собрание сочинений в 16 томах, т. XVI, стр. 218.

[2] «Современник», 1837, кн. V, стр. 40—41.

лы, прежде чем представил их царю. В письме к брату от 19 февраля 1837 года Тургенев называет эти именно архивные материалы «парижскими бумагами». О них же, бесспорно, идет речь и в его дневнике — там, где Александр Иванович пишет, что рассматривал вместе с Пушкиным «французские бумаги» и прочел ему «выписку из парижских бумаг». Предположение наше таким образом подтверждается.

Выяснить, какие документы Тургенев показал поэту, помогает обнаруженное мною в дневнике Тургенева между записями от 5 и 7 марта 1837 года черновое письмо его к П. И. Кривцову. Тургенев пишет, что приехал с «богатыми и важными приобретениями — в парижских архивах мною сделанными,— поясняет он,— особливо в архиве министерства иностранных дел, где... списал почти все, относящееся до России, с оригинальных бумаг, начиная с первых сношений наших с Францией прежде Петра I — до первых двух годов царствования императрицы Елизаветы Петровны включительно»[1].

Вот, оказывается, какие «французские бумаги» рассматривал Пушкин с Тургеневым. Но нельзя ли попытаться выяснить, какие из этих бумаг привлекли особое внимание Тургенева и что представляла собой «выписка из парижских бумаг», которую он успел прочесть Пушкину?

Мне довелось разыскать в тургеневском архиве документ, который позволяет дать ответ и на этот вопрос; обнаруженная рукопись носит название: «Выписки из архива французского министерства иностранных дел»[2] и является краткой пояснительной запиской к «парижским бумагам» Тургенева. В этом документе, писанном рукой переписчика, кратко охарактеризованы те из парижских бумаг, которые Тургенев считал наиболее важными. С ними, как нетрудно догадаться, Тургенев, вероятно, и познакомил Пушкина.

На первое место А. И. Тургенев выдвигает в пояснительной записке донесения французского посла в Петербурге Кампредона, ярко рисующие события, сопровождавшие смерть Петра и борьбу за престол между сто-

---

[1] Архив ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 309, № 316, лл. 77 об., 78, 78 об.

[2] Там же, № 1135.

ронниками Екатерины и старой знатью, стремившейся возвести на трон малолетнего внука Петра I (сына царевича Алексея). Донесения эти произвели на Тургенева большое впечатление, когда он впервые прочел их в парижском архиве. «Будущее России решилось в этой эпохе на долгое время»,— писал в пушкинском «Современнике» Тургенев, касаясь донесений Кампредона[1]. Это были те самые — получившие позднее историческую известность — донесения, на которых основывался впоследствии Соловьев, рассказывая о смерти Петра I в своей «Истории России». Мы едва ли ошибемся, полагая, что с депешами Кампредона, которым Тургенев отвел первое место в своей «выписке из парижских бумаг», он прежде всего и познакомил Пушкина.

Сообщая 10 февраля 1725 года Людовику XV о смерти Петра, Кампредон писал королю из Петербурга о том, как «перепугалось все население, опасавшееся каких-либо беспорядков. Опасения эти,— пояснял он,— имели тем большее основание, что никакого определенного распоряжения насчет престолонаследия не было, мнения вельмож по этому вопросу разделились, войско шестнадцать месяцев уже не получало жалования и доведено было до отчаяния непрестанными работами, а ненависть народа к иностранцам достигла до последней степени.

По всем человеческим предвидениям казалось, что счастию вдовствующей императрицы (то есть Екатерины.— *И. Ф.*) наступил конец и что приближенных ее: князя Меншикова, Толстого и других постигнет та же участь». Между тем, доносил Кампредон, «всемогущему угодно было сделать возможным то, что людям представлялось невозможным... Орудием всего этого,— писал Кампредон,— явился князь Меншиков, склонивший на сторону императрицы гвардейский полк». Далее он сообщает: «Во время совещания некоторые гвардейские офицеры в сильном волнении кричали, что если совет будет против императрицы, то они разможжат головы всем старым боярам. Так кончился этот памятный день...»[2]

---

[1] «Современник», 1837, кн. V, стр. 41—42.

[2] См. сб. Русского исторического общества, 1886, т. 52, стр. 427 и след.

Помимо депеш Кампредона, чрезвычайно заинтересовала Тургенева найденная им в парижском архиве записка Вестфалена, составленная 5 мая 1729 года по получении известия о смерти графа Петра Андреевича Толстого.

А. И. Тургенев сообщал в письме от 21 сентября 1835 года, напечатанном в «Современнике»: «Сегодня прочел я биографию графа Толстого, которую написал датский министр, при дворе Петра I, Екатерины I и Петра II долго находившийся... Я еще ничего не читал любопытнее сей записки о сей эпохе»[1]. Надо думать, что. рассматривая с Пушкиным «парижские бумаги», Тургенев показал ему и эту записку. Рассказывают, говорится в ней, будто Петр I за несколько недель до своей кончины, перечисляя добрые и дурные стороны своих министров, сказал: «Петр Андреевич (Толстой) во всех отношениях человек очень ловкий, только, имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы, в случае если бы он вздумал кусаться»[2].

В записке Вестфалена сообщались также интересные сведения о роли Толстого в деле царевича Алексея.

Петр I «отправил Толстого к беглому сыну, поручив ему обещать царевичу прощение, если он возвратится... Еще до отъезда из Амстердама он (то есть Толстой.— *И. Ф.*) составил себе план действий, именно положил сблизиться с любовницей, которую царевич увез с собой из Петербурга,— смышленой и довольно хорошенькой чухонкой.

Толстой воспользовался слабой стрункой ее — с самыми горячими и низкими клятвами обещал выдать ее замуж за младшего своего сына и дать за ним 1000 душ крестьян, если только она убедит царевича немедля вернуться в Россию»[3].

Содержание записки Вестфалена о Толстом заставляет признать ее документом, представлявшим действительно в свое время большой интерес.

---

[1] «Современник», 1837, кн. V, стр. 46.
[2] Сб. Русского исторического общества, 1889, т. 66, стр. 75.
[3] Там же, стр. 79.

Тургенев поэтому и отметил ее в своей «выписке из парижских бумаг», которую он прочел Пушкину накануне дуэли.

* * *

На другой день после дуэли, 28 января 1837 года, Александр Иванович писал о том, как 27-го, на вечере у князя Щербатова, услышал он, «что Пушкин ранен, и очень опасно». «Я все не думал о поэте Пушкине,— говорит Тургенев в одном из своих писем о дуэли и смерти Пушкина,— ибо видел его накануне, на бале у графини Разумовской, накануне же, то есть третьего дня провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни... Третьего и четвертого дня (то есть 25 января.— *И. Ф.*) также я провел с ним большую часть утра; мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала»[1]... 25-го утром Пушкин был занят чтением писем Тургенева, предназначавшихся для «Современника», а на другой день, 26-го утром, Тургенев прочел Пушкину «выписку из парижских бумаг». Таковы были последние исторические занятия поэта.

В этот день Пушкин отправил письмо к Геккерену, не оставлявшее другого исхода, кроме дуэли. По свидетельству близкого поэту современника, А. Н. Вульфа: «Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское... И там-то на свободе предполагал заняться составлением Истории Петра Великого». Надежды Пушкина не сбылись, смерть оборвала его работу, и великий труд остался незавершенным.

«Вчера в $2^3/_4$ мы его лишились, лишилась его Россия и Европа,— писал Тургенев, сожалея о Пушкине как об историке, не завершившем своего труда.— Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно

---

[1] «А. С. Пушкин и его современники». СПБ, 1908, вып. VI, стр. 48.

о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие; но потеря, конечно, незаменимая. Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Великая потеря» [1].

1958

---

[1] «Русский архив», 1903, кн. I, стр. 143.

Великие страницы

РИСУНОК ЛЕРМОНТОВА

Когда Пушкин был убит, по России разнеслись стихи Лермонтова на смерть поэта. «Навряд ли еще когда-нибудь в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление» [1],— вспоминал много лет спустя Владимир Стасов.

Николай I получил копию лермонтовского стихотворения с надписью «Воззвание к революции». Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ, но подлинная черновая рукопись стихотворения уцелела, и, кроме всем известных строк, в ней можно прочесть зачеркнутую строфу, рядом с которой Лермонтов нарисовал чей-то выразительный профиль.

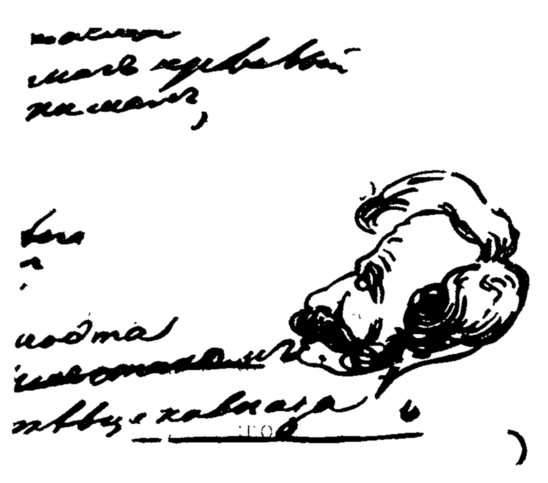
Зачеркнутые стихи Лермонтова говорят об убийце Пушкина:

[Его душа в краю чужом]
Его душа в заботах света
Ни разу не была согрета
Восторгом русского поэта,
Глубоким, пламенным стихом...

Стихи говорят о Дантесе, но профиль, нарисованный Лермонтовым рядом с зачеркнутой строфой, ничем не напоминает Дантеса. Дантес был тогда молодым офицером, а на рисунке человек немолодой, с усталым лицом и тяжелым, подозрительным взглядом; лицо его нарисовано рядом со стихами, клеймящими убийцу Пушкина; человек этот был, по-видимому, причастен к убийству.

Когда я стал всматриваться в лермонтовский рисунок, мне вспомнился вышедший из-под пера Герцена литера-

[1] В. В. Стасов. Училище правоведения сорок лет тому назад. «Русская старина», 1881 г., февраль, стр. 411.



Дубельт.
Рисунок Лермонтова в черновой рукописи стихотворения «Смерть поэта».

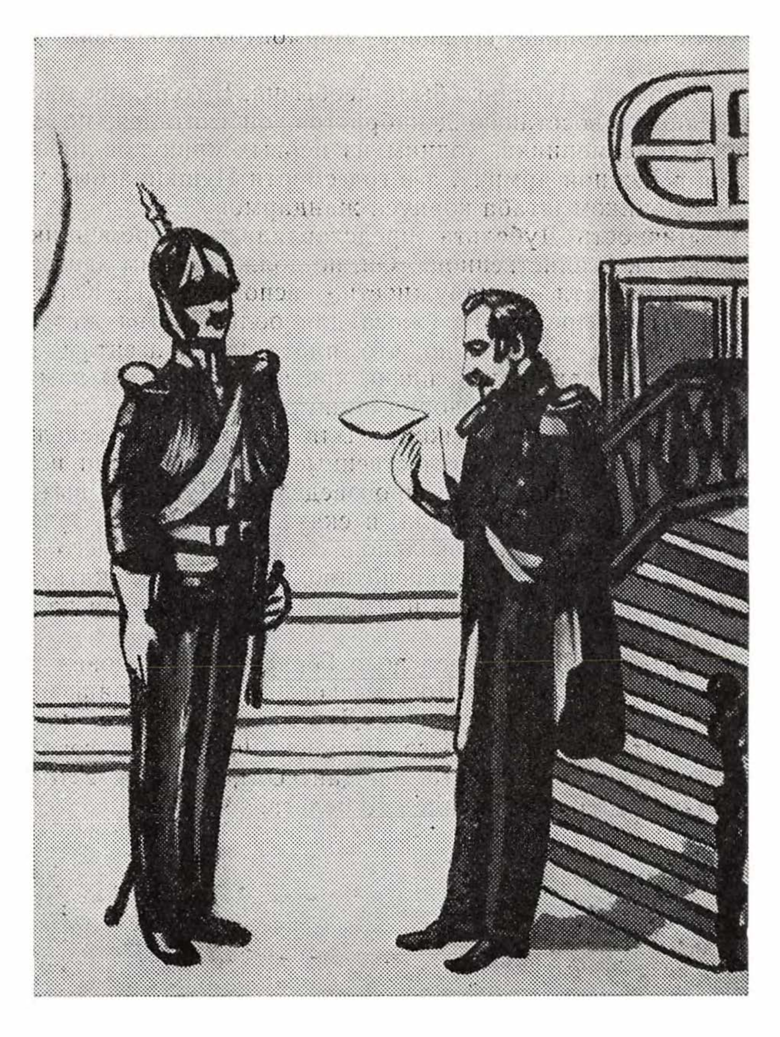
турный портрет Дубельта — начальника штаба корпуса жандармов. Тайный надзор, окружавший Пушкина при жизни, не прекратился и после его смерти. Тело Пушкина не было еще погребено, когда Дубельт, хозяйничавший в знаменитом III Отделении собственной канцелярии его императорского величества, опечатал по приказу Николая I рукописи великого поэта.

Вспоминая Дубельта в «Былом и думах», Герцен писал о нем: «Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость» [1].

Сравнение лермонтовского рисунка с дошедшими до нас портретами Дубельта (черты его, как верно заметил

---

[1] А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах. Изд-во АН СССР, т. IX. М., 1956, стр. 57—58.



Дубельт с жандармом на лестнице III Отделения.
Рисунок 1840-х годов.

Герцен, имели действительно «что-то волчье и даже лисье») подтвердило мою догадку о том, что рядом со стихами об убийце Пушкина Лермонтов изобразил Дубельта.

Карьера Дубельта была необычна. В годы, предшествовавшие восстанию декабристов, он считался, по словам современника, «одним из первых крикунов-либералов в Южной армии», а в год смерти Пушкина был уже начальником штаба корпуса жандармов.

Личность Дубельта представлялась современникам несколько таинственной. «Он, по должности им занимаемой и отчасти по наружности,— вспоминал П. Каратыгин,— был предметом ужаса для большинства жителей Петербурга»[1]. Известно, что, платя своим агентам, Дубельт придерживался цифр, кратных трем. «В память 30 сребреников»,— говорил он шутя.

Когда бумаги Пушкина были возвращены наследникам и в журнале «Отечественные записки» стали появляться его неизданные произведения, Дубельт вызвал к себе издателя журнала и сказал: «К чему? Зачем? Кому это нужно?.. Довольно... сочинений-то вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтобы продолжать еще и по смерти отыскивать неизвестные его творения да печатать их!»[2]

Позднее Дубельт вел дело Герцена, преследовал Некрасова, допрашивал Достоевского по делу петрашевцев.

Герцен увидел и описал Дубельта таким же, каким Лермонтов нарисовал его. Рисунок Лермонтова говорит нам: среди убийц поэта, за Дантесом, у трона, в толпе палачей, Лермонтов видел Дубельта.

1938

---

[1] «Исторический вестник», 1887, т. 10, стр. 174.

[2] См.: «Русский биографический словарь». «Дубельт»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РУКОПИСИ

«ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ»

Эту рукопись Гоголя я впервые увидел в Москве. В Центральный государственный архив древних актов она поступила из Красноярска. На обложке ее было сказано, что это черновик гоголевской «Повести о капитане Копейкине». Но с первого же взгляда можно было увидеть, что рукопись эта не простой черновик: страницы ее перечеркнуты крест-накрест красными чернилами, сохраняющими еще свою яркость.

Передо мной лежали, кажется, запрещенные больше ста лет назад царской цензурой страницы «Мертвых душ». До сих пор они были известны только по копии, снятой в год смерти Гоголя; подлинник же этих запрещенных гоголевских страниц куда-то исчез. Если он в самом деле теперь обнаружился и возвратился из безвестного отсутствия в Москву, где страницы эти больше ста лет назад были написаны, судьбу их следовало выяснить. Она оказалась действительно интересной.

Вот история этой рукописи.

На архивной обложке ее помечено, что в Красноярский областной архив рукопись «Копейкина» поступила «из коллекции Г. В. Юдина». Это сразу объясняло многое. Сибирский купец Геннадий Васильевич Юдин собрал в Красноярске за долгие годы своей жизни библиотеку, которую энциклопедия Брокгауза называла «самой обширной из частных библиотек России»: в ней было больше 100 тысяч томов. В книге, вышедшей в 1905 году в Вашингтоне и посвященной библиотеке Юдина, говорилось, что равной ей по числу книг частной библиотеки не существовало ни в России, ни за границей.

Библиотеку свою Юдин перевез после одного из случившихся в Красноярске больших пожаров за город, в село Тараканово. Здесь, на крутом берегу Енисея, он построил для нее двухэтажное здание из крепкого сибирского леса. В этой «знаменитой библиотеке Юдина» занимался в 1897 году Владимир Ильич Ленин, когда останавливался в Красноярске на пути к месту своей сибирской ссылки. Это «замечательное собрание книг» [1],— писал Ленин сестре Марии Ильиничне.

Нам теперь даже трудно представить себе, что купец-книголюб мог один владеть библиотекой, в которой было больше 100 тысяч томов.

За пять лет до своей смерти, в 1907 году, не поладив с государственными книгохранилищами царской России, Юдин продал свою библиотеку в Америку.

Но кроме громадной библиотеки Юдин собрал еще целый архив рукописей, среди которых были редчайшие автографы русских писателей. И архива своего, в отличие от библиотеки, целиком за границу не продал: в посвященном Юдину некрологе, напечатанном в 1912 году в журнале «Русский библиофил», можно прочесть, что архив этот перешел после смерти Юдина к его наследникам. Не удивительно поэтому, что рукопись Гоголя из коллекции Юдина оказалась после революции в Красноярском областном архиве, а оттуда возвратилась в Москву.

* * *

Как попала, однако, эта драгоценная рукопись в коллекцию Юдина? На обложке ее есть пометка, где упоминается «фонд» Погодина. У Погодина, в доме на Девичьем поле в Москве, Гоголь жил в то время, когда готовил к печати «Мертвые души», и так как денег у Гоголя не было, то печатались они в долг, на бумаге, взятой в кредит Погодиным. Погодин, историк и знаток древностей, собрал у себя в доме целый музей, который сам он назвал «Древлехранилищем», и Гоголь отдал ему рукописный экземпляр первого тома «Мертвых душ» (Погодин продал его потом Императорской публичной библиотеке). Остались у Погодина и запрещенные страницы гоголевской «Повести о капитане Копейкине», вырезан-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 24.

ные цензурой из другой рукописи, по которой «Мертвые души» печатались. От Погодина и перешли, прямо или через посредников, эти перечеркнутые красными цензорскими крестами страницы к Юдину.

Вот как вырезаны были эти страницы.

Когда Гоголь узнал, что московская цензура не пропустит в печать «Мертвые души», он передал рукопись Белинскому (приехавшему в то время в Москву) в надежде протащить как-нибудь «Мертвые души» через петербургскую цензуру. Эта надежда, казалось, оправдывается: в Петербурге публикация рукописи была разрешена. Но цензура исключила из «Мертвых душ» «Повесть о капитане Копейкине».

Капитан Копейкин появляется в этой повести «после кампании двенадцатого года». Под Красным ли или под Лейпцигом, пишет Гоголь, оторвало ему руку и ногу. И Копейкин отправляется в Петербург, «чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь...»

Повидал Копейкин самого министра, снова пришел, и раз, и другой. А в ответ на просьбу ему «подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец стал настаивать и разгневал его высокопревосходительство: «А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков,— словом, дантист эдакой... Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем». И выслали из столицы. И Копейкин, возмущенный несправедливостью, вслед за этим исчез и стал атаманом разбойничьей шайки... Так оканчивает свой рассказ о нем почтмейстер Иван Андреевич (тот самый, обращаясь к которому чиновники всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч»).

Не удивительно, что эти страницы «Копейкина» запрещены были царской цензурой. «Ничья власть не могла его защитить от гибели,— писал Гоголю цензор, запретивший «Копейкина»,— и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать» [1]. Но Гоголь был в отчаянии.

---

[1] Н. В. **Гоголь**. Собрание сочинений в 14 томах. АН СССР, т. VI, кн. I, стр. 890.



Гоголь.
Рисунок Пушкина.

«Без «Копейкина»,— писал он в эти дни,— я не могу и подумать выпустить рукописи». «Я решился не отдавать его никак,— говорит он в другом письме.— Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе». Поэтому, вырезав из рукописи «Мертвых душ» страницы, перечеркнутые красными цензорскими чернилами, Гоголь стал переделывать их и на этих же самых, вырезанных листах создал новую, смягченную редакцию «Повести о капитане Копейкине».

В запрещенной цензурой редакции повести Копейкин просил: «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» А настаивать стал, объясняет почтмейстер, когда «голод-то, знаете, пришпорил его».

В новом, поневоле созданном Гоголем варианте повести Копейкин представлен иначе: это человек назойливый — «наян эдакой», говорит о нем гоголевский почтмейстер. Ему «даны пока средства для прокормления, покамест выйдет резолюция...» «Да что? — говорит на это Копейкин,— я не могу,— говорит,— перебиваться кое-как. Мне нужно съесть и котлетку, бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете».

«...Я переделал «Копейкина», я выбросил все, даже министра, даже слово «превосходительство»,— писал теперь Гоголь цензору.— Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков... Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо...» Виноват теперь во всем оказывается (если принимать всерьез эти адресованные цензору слова Гоголя) уже сам Копейкин.

Этот новый вариант «Повести о капитане Копейкине» переписан был набело на листках почтовой бумаги. Листки эти вклеили в рукопись «Мертвых душ» на место вырезанных страниц, и они вместе со всей рукописью, скрепленной цензором, пошли в печать.

А вырезанные страницы, на которых можно прочесть, несмотря на зачеркивания, и прежнюю, запретную, и новую, смягченную, редакцию «Копейкина», Погодин сберег в своем «Древлехранилище». И в год смерти Гоголя показал — и позволил скопировать — эти листы Николаю Тихонравову, который стал впоследствии известным исследователем литературного наследия Гоголя. А так как в числе вырезанных листов не хватало начальной страницы «Копейкина», Тихонравов отыскал ее в прошедшей цензуру рукописи «Мертвых душ», хранившейся в библиотеке Московского университета (первая страница «Копейкина», в отличие от остальных, не была вырезана из этой, разрешенной цензурой рукописи, а только заклеена белой бумагой, которую Тихонравову тогда же удалось отмочить).

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что возвратившиеся в наше время из Красноярска в Москву страницы «Копейкина» действительно подлинник, отбившийся век назад от этой цензурной рукописи, нужно было увидеть цензурную рукопись «Мертвых душ», вставить возвратившиеся страницы «Копейкина» на то место, откуда они были когда-то вырезаны, и посмотреть: придутся ли они впору?

«Мертвые души» печатались в типографии Московского университета, и цензурная рукопись поэмы поступила затем в университетскую библиотеку. Но там ли она и теперь, век спустя, после того, как пронеслось столько бурных исторических событий?

Дело было теперь за последней проверкой. Я отправился в Музей книги при Библиотеке Московского университета и уже через несколько минут держал в руках цензурную рукопись гоголевской поэмы.

Рукопись эта большого формата; переплет ее оклеен желтоватой бумагой, а одна из страниц заложена засохшей веткой полыни, и запах ее, неожиданный среди книжных шкафов, напоминает о южной степной дороге. На заглавном листе рукописи (переписанной гусиным пером для печати рукою писца) рукой Гоголя приписаны слова: *«Поэма Н. Гоголя»*. А кончается последняя страница этой рукописи словами поэта: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и ко-

сясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Раскрыв этот рукописный том «Мертвых душ», нетрудно было убедиться, что там, где должна находиться 313-я страница и еще несколько следующих за ней, также вырезанных страниц, вклеены вместо них четыре полулиста почтовой бумаги, на которых переписана была чьей-то рукой новая, смягченная Гоголем редакция «Повести о капитане Копейкине».

Я приставил сюда возвратившиеся из Красноярска страницы Гоголя. Они были те самые, которых недоставало. На первой из этих отбившихся страниц читается конец слова, начатого на предшествующей, 312 странице основной рукописи: слово это — «Шахразада» (или, как написал Гоголь, «Шеррезада»).

История рукописи на этом, кажется, заканчивалась.

* * *

Когда Гоголь окончил «Повесть о капитане Копейкине», Анненков, писавший ее под диктовку Гоголя, «отдался неудержимому порыву веселости». Гоголь смеялся вместе с ним и несколько раз спрашивал: «Какова «Повесть о капитане Копейкине»?» — «Но увидит ли она печать когда-нибудь?» — спросил его Анненков. «Печать — пустяки! — отвечал Гоголь.— Все будет в печати!» [1]

Так оно и произошло. Но для читателей «Мертвых душ» цензурная история «Копейкина» окончилась лишь в наше время. Дело в том, что скопированные в год смерти Гоголя страницы запрещенной рукописи «Копейкина» Тихонравов смог напечатать только через полвека после их запрещения, и не в тексте «Мертвых душ», а лишь в приложении к ним [2]. И «Повесть о капитане Копейкине» в большинстве дореволюционных изданий продолжала печататься в той смягченной редакции, которую Гоголь создал поневоле, понужденный к тому цензурой.

---

[1] См.: «Гоголь в жизни», сост. В. Вересаев. «Academia». М.— Л., 1933, стр. 256.

[2] Сочинения Н. В. Гоголя. Издание десятое. Под редакцией Н. Тихонравова, т. III М., 1889, стр. 270—276.

Только в наши дни две редакции «Повести о капитане Копейкине» во всех изданиях Гоголя поменялись местами: запрещенный царской цензурой «Копейкин» стал наконец на принадлежащее ему по праву место в основном тексте «Мертвых душ». А смягченная поневоле Гоголем редакция повести перешла — теперь уже во всех изданиях — туда, где ей надлежало быть — в приложения к «Мертвым душам».

Слова Гоголя: «Все будет в печати!» — сбылись. Отыскались и знаменитые своей цензурной историей страницы «Копейкина».

1951

СТРАНИЦА «ВОЙНЫ И МИРА»

ТОЛСТОЙ И ЗАПИСКИ БОЛХОВСКОГО

Такого важного известия не было во всю войну.

«Война и мир»

О Болховском писал Пушкин в своем дневнике, Герцен — в «Былом и думах», Лев Толстой — в «Войне и мире». Чем привлек он внимание великих писателей?

«Генерал Болховской хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал)»,— вспоминал Пушкин. И пояснил, что на вопрос общего их приятеля, который спросил у Болховского: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» — Болховской ответил: «Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет...» [1]

Что же видел Болховской и о чем мог вспомнить в своих записках?

Болховской был очевидцем смерти Екатерины II (об этом упоминает Пушкин). Герцен, с детства знавший Болховского, пишет, что «он участвовал в убийстве Павла». Наконец,— что важно для нас,— он был участником событий Отечественной войны 1812 года. Все это объясняет, почему Пушкин счел нужным отметить, что Болховской начал писать свои записки. Продолжал ли он их и какова была их дальнейшая судьба?

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР, 1949, т. VIII, стр. 53.

* * *

Болховской был тот самый офицер, который доставил Кутузову донесение о том, что французская армия внезапно покинула Москву и Наполеон отступает.

Два-три упоминания о его записках можно поэтому встретить у историков Отечественной войны 1812 года, пользовавшихся в прошлом столетии рукописью Болховского. Он скончался в 1852 году в Москве, а отрывки из подлинных его записок были напечатаны лишь полвека спустя, когда в Вильне издан был сборник «1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников».

Вот как рассказывает в них Болховской о своей исторической встрече с Кутузовым.

В то время как Кутузов со штабом находился при Тарутинском лагере — в Леташовке, «генерал Дорохов, пишет Болховской, доносил, что неприятельский отряд в числе 10 000 показался на Боровской дороге близ села Фоминского, имея будто бы предметом защищать от партизан своих фуражиров и транспорты... Ермолов — начальник главного штаба — сомневался в правильности донесения Дорохова и приказал партизанам Сеславину и Фигнеру, каждому с отрядом в 500 лошадей, «открыть настоящее намерение неприятеля...»

В ночь на 11 октября «войско в лагере и начальники — всё предалось покою». Болховской не спал «в ожидании партизанов, как вестников, долженствующих определить жребий воюющих. И действительно,— пишет он,— в первом часу пополуночи явился полковник Сеславин... чтобы возвестить, что мнимый тот десятитысячный отряд... не иное что, как эшелон отступающей от Москвы французской армии. От него узнал я тут все подробности сего отступления, как-то: подорвание Кремля и прочее, а в удостоверение сего наиважнейшего события Сеславин, имев дерзость заехать в тыл неприятельских колонн, привел с собой несколько гвардейских пленных офицеров, которые при допросе моем всё сказанное совершенно подтвердили...

Генерал Ермолов своей рукой написал весьма краткую записку к фельдмаршалу, генерал Дохтуров подписал ее, и мне поручено было,— говорит Болховской,— сколь возможно быстро доставить и дополнить изустно оную...



М. И. Кутузов.
Гравюра В. А. Фаворского. Фрагмент.

На тот раз я имел отличную, добрую донскую лошадь, но, не доверяя достаточно силе и быстроте ее, я взял с собой фельдъегеря на весьма добром коне... и несколько своих ординарцев... дабы, в случае нужды, переменить мою лошадь. Ночь была теплая, месячная, и лошадь моя столь хорошо себя оправдала, что всех моих спутников я оставил далеко за собой, и в главную квартиру прибыл я с неимоверной скоростью.

Прискакав прямо к главной квартире генерала Коновницына, я нашел еще его работающим. Он, пораженный моим рассказом, тотчас пригласил графа Толя. Оба вместе, приняв от меня записку, пошли будить от сна фельдмаршала, а я остался в сенях той избы, где он покоился. Нимало не медля, он потребовал меня к себе, и вот что я видел и слышал в сию незабвенную для меня эпоху.

Старца сего я нашел сидящим на постели, но в сюртуке и в декорациях [1]. Вид его на тот раз был величественный, и чувство радости сверкало уже в очах его.

«Расскажи, друг мой,— сказал он мне,— что такое за событие, о котором вести привез ты мне. Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает? Говори скорей, не томи сердце, оно дрожит».

Я донес ему подробно о всем вышесказанном, и когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец не заплакал, а захлипал и, обратясь к образу

[1] Орденские знаки.

Спасителя, так рек: «Боже, создатель мой, наконец ты внял молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена...» [1]

Эти страницы записок Болховского, чем дальше читаешь их, кажутся все более знакомыми. Историческая сцена, которую он вспоминает, действительно знакома нам по «Войне и миру». Толстой написал ее, основываясь на рассказе Болховского, которого назвал в «Войне и мире» Болховитиновым; в своих рукописях Толстой трижды назвал его даже прямо Болховским (точнее — Болговским, как нередко писалось его имя) [2]. Сохранился в рукописях «Войны и мира», которые теперь опубликованы, и план этой знаменитой сцены («Болховитинов от Дорохова. Кутузов по ночам не спит») [3]. Перечитаем эти страницы «Войны и мира» и сравним их с рассказом Болховского.

Толстой пишет сначала о том, как все французское войско вдруг повернуло на Новую Калужскую дорогу. Затем мы читаем: «Вечером 11 октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы...

...Решено было послать донесение в штаб.

Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело...

...Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной, вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташовке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.

— Дежурного генерала скорее! Очень важное! — проговорил он кому-то...

---

[1] См.: «1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников». Материалы Военно-ученого архива Главного штаба, вып. 1. Вильно, 1900, стр. 226—243.

[2] См. Лев Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах, т. XV. М., 1955, стр. 79, 82—83.

[3] Там же, стр. 76 и 79.

...Кутузов, как и все старые люди, мало сыпал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частью не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте...

...погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание. В ночь 11 октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелилось и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

— Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? — окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечку, Толь рассказывал содержание известий.

— Кто привез? — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своею холодной строгостью.

— Не может быть сомнения, ваша светлость.

— Позови, позови его сюда!..

— Скажи, скажи, дружок,— сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку.— Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

— Говори, говори скорее, не томи душу,— перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей...— дрожащим голосом сказал он, сложив руки.— Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал» [1].

---

[1] «Война и мир», т. IV, ч. 2, гл. XV, XVI, XVII.

* * *

Толстой передал нам ночные мысли Кутузова и перенес на страницы «Войны и мира» его незабываемые слова. Как же познакомился великий писатель с записками Болховского, сохранившего в своей памяти эту историческую сцену?

Известно, что, работая над «Войной и миром», Толстой пользовался сочинениями Михайловского-Данилевского, Тьера, Бернгарди и других историков. Изображая прибытие Болховского в Леташовку, предшествующее встрече его с Кутузовым, Толстой воспользовался воспоминаниями Щербинина, адъютанта Коновницына. Здесь нашел Толстой подробности для характеристики Коновницына и рассказ о единственной свече, облепленной тараканами, которую зажег в штабной избе Щербинин. Записки Щербинина оставались в пору работы Толстого неизданными, но ими пользовался в своем труде Бернгарди, откуда, как установлено исследователями, почерпнул эти детали Толстой.

Целый ряд исторических данных Толстой нашел в «Описании Отечественной войны 1812 года» Михайловского-Данилевского. Существует составленный уже полвека назад перечень тех страниц «Войны и мира», где Толстой использовал эту книгу; в перечне этом было кратко указано: «Кутузов получает известие о выступлении из Москвы французской армии» [1]. Но не было обращено внимание на то, что Михайловский-Данилевский воспользовался тут записками Болховского, которого Толстой сделал одним из героев «Войны и мира».

Из записок Болховского Толстой перенес в свою эпопею слова Кутузова, известные теперь миллионам читателей. Болховской сохранил для потомства эти исторические слова и образ Кутузова — его слезы и радость в минуту, когда он узнал о бегстве Наполеона из Москвы и отступлении «великой армии».

1961

---

[1] Сб. «Война и мир», издательство «Задруга», 1912, стр. 118.

СОДЕРЖАНИЕ

Илья Львович Фейнберг

ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА

М., «Советский писатель», 1976, 264 стр. План выпуска 1976 г. № 365

Художник *Н. С. Лаврентьев.* Редактор *М. Я. Малхазова.*

Худож. редактор *Д. С. Мухин.* Техн. редактор *Т. С. Казовская.*

Корректоры *И. Ф. Сологуб* и *Л. К. Фарисеева.*

Сдано в набор 19/IV 1976 г. Подписано к печати 17/IX 1976 г. А09195. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 8¹/₄. Усл. печ. л. 13,86. Уч.-изд. л. 12,45. Тираж 25 000 экз. Заказ № 173. Цена 76 коп. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва М-54, Валовая, 28.